

ВОЛКИ



СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

Григорий Павленко

18+

Григорий Павленко

Волки

«Автор»

2026

Павленко Г.

Волки / Г. Павленко — «Автор», 2026

Баю-баюшки-баю, не ложися на краю. За рекой, в лесу густом серый волк почуял хворь. Не гляди, дитя, в окно, во дворе твоём темно. Волк всё ближе, всё слышней, он уже среди людей. Спи, не двигайся, замри, он уже стоит в двери. Кто уснул — того минёт, кто не спит — того возьмёт. А кого унёс с собой — тех не сыщешь под луной. Ты один в пустой ночи. Спи, родной, не кричи.

© Павленко Г., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. «Чужой дом»	5
Глава 2. «Гроза»	11
Глава 3. «Посёлок»	16
Глава 4. «Тишина»	21
Глава 5. «Не вернулись»	26
Глава 6. «На честном слове»	31
Глава 7. «Связь наладят»	36
Глава 8. «По вызову»	41
Глава 9. «Тропой»	48
Глава 10. «Не удержать»	54
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Григорий Павленко

Волки

Глава 1. «Чужой дом»

Середина октября.

В подпол Аня спускаться не хотела.

Крышку лаза она откинула ещё утром — думала, спущусь сейчас, разом всё и пере-смотрю, — да так и проходила весь день мимо, обходя чёрную дыру посреди кухни по дуге, как прорубь. Бралась за что попроще: вынесла на крыльцо мешок тряпья, перебрала буфет, протёрла подоконники, на которых за год набралась пыль. Всё, лишь бы не лезть вниз. Из лаза тянуло холодом и сыростью, погребным духом земли и квашенины, и где-то там, в темноте, мерно капало — натекало, видно, всю осень, пока некому было вычерпать. По верхним ступеням провисла паутина. Под лестницей что-то прошуршало и затихло — мыши, ясно, кто ж ещё.

Тридцать восемь лет, полстраны объездила по работе, ночевала на складах и в вагончиках, где и не такое скреблось по углам, — а лезть в материн подпол боязно, как в семь. Глу-пость, Аня это понимала. Только внизу была не картошка. Внизу было всё, что мать запасла впрок и не успела съесть, — целая жизнь, разложенная по банкам да ящикам, — и спуститься к ней значило начать разбирать не погреб, а мать. За тем, в общем, и приехала. На три дня, как думала. Шёл уже седьмой.

Откладывать было больше некуда. Аня нашарила выключатель у лаза — старый, на отлёт, с подгоревшей добела клавишей. Лампочка внизу занялась жёлтым, вполнекала: света хватало на верхние ступени, а ниже всё тонуло в буром сумраке. Легче не стало. Чертыхнулась — негромко, для порядка, как чертыхалась мать, — и полезла.

Лесенка застонала под ногой на каждой ступени. Холод поднялся навстречу — не зим-ний, резкий, а тот погребной, стоячий, что не уходит и в июле, — добрался сквозь рукава, лёг на плечи. Пахло землёй, старой картошкой, вялым укропом. Аня спустилась, пригнулась под низким сводом. Полки тянулись по обе руки, от пола до потолка, и были полны: морковь в ящичке с песком, свёкла, лук в капроновых чулках, подвешенный к балке, бочонок капусты под дощатым кружком и гнётом. Полная чаша, как у матери всегда. Аня, не думая ещё, привычно прикинула: сколько тут всего, на сколько ртов, на сколько месяцев станет. За то, чтоб считать чужие запасы, ей двадцать лет и платили. Считать было не для кого — мать одна, мать в земле, — а всё одно считалось, само.

Банки занимали целую стену.

Они стояли рядами, плечом к плечу, тускло отсвечивая в жёлтом, и на каждой — рука матери. Мать всё подписывала, сколько Аня её помнила: огрызком карандаша по клочку бумаги под резинкой, а то и прямо по крышке. «Вишн. б/кост.», «огур. 25», «помид. зел.», «компот ябл.», «вар. сморо.» — скупое, сокращённое, тесным своим почерком. Аня сняла одну наугад — огурцы, мелкие, в палец, плотным столбиком. Повертела. Мать закатывала их прошлым летом, ещё на ногах, до того, как слегла совсем: стояла над тазом в клубах пара, в перед-нике, разливала рассол по банкам, метила каждую крышку — будто кто-то стал бы гадать, что внутри, будто кто-то вообще сюда спустится. Крутила, солила, сносила вниз — на семью, которой давно нет. Дочь в городе, внук в городе, мужа Аня сдала в архив год назад. А огурцов — на целый полк.

Она взяла три банки, сколько брала за раз, и поднялась по стонущей лесенке наверх.

Объяснение, почему она всё ещё тут, у неё было готовое, гладкое: дом большой, мать держала каждую тряпку с семидесятых, такое за выходные не разгребёшь. Она и сама в это

почти верила. Бросить всё и уехать она умела лучше всех — всю жизнь только это и делала, с восемнадцати, и выходило неплохо. А вот доделать и потом уехать — почему-то не получалось.

Аня поставила банки на стол к остальным, в линию, этикетками на себя, и вытерла руки о джинсы.

Телефон лежал на подоконнике экраном вниз. Аня перевернула его, набрала Кира. Длинные гудки — раз, два, три. Он всегда брал не на первый и не на второй — сначала домотает своё, и только тогда.

— Ма.

— Не разбудила?

— Не. — Он отвечал вполуха: на том конце попискивала какая-то игра. — Ты ещё там, что ли?

— Ещё тут. — Она прижала трубку плечом, подровняла крайнюю банку, чтоб не выбивалась из ряда. — Ел сегодня?

— Угу.

Аня давно знала своё место в этой очереди — где-то ниже той стрелялки, что пищала у него в трубке. Отмечала, как недостачу на складе.

Голос у него за год сел, стал почти мужской. Рос он у отца, без неё, — она и не заметила, как вырос. Тон скучающий, шестнадцатилетний. Аня знала этот тон до доньшка — сама таким разговаривала с матерью. Теперь сидела на другом конце той же трубки.

— К отцу, значит, на выходные, — сказала она. Знала и без него.

— Ну да. Ребята там зовут, я... — он что-то пробормотал.

Спросить хотелось много. Как он вообще — после развода, после того, что выбрал остаться с отцом, а не ехать с ней. Скучает ли хоть немного. Не ест ли всухомятку. Целый список накопился, как опись, — а вслух ни пункта: про развод спроси — замкнётся, про «скучаешь» — буркнет «норм», и обоим станет неловко. С сыном, как и со всеми, у неё лучше получалось молчать.

— Ладно. — Она потёрла большим пальцем голую бороздку у основания безымянного, где год как нет кольца, — привычка, от которой не избавилась. На языке вертелось простое, тёплое — «приезжай хоть на каникулы, что ли» — и не нашлось, куда это пристроить. — Доберу тут материно — и приеду. Иди к своим.

— Угу. Пока.

Трубку он положил первым, как всегда. Аня подержала телефон у уха ещё секунду, слушая частые гудки отбоя, и опустила.

Объявление о доме висело недописанным во вкладке — третий день не уходило. Аня ткнула «обновить». Колёсико покрутилось и встало: не грузит. Мобильный интернет в посёлке сдох ещё год назад, к этому привыкли. Держался проводной, от Ростелекома, да и тот на ладан дышал — а неделю назад пропал и он.

Дядя Толя, сосед, на её вопрос только заворчал: беспилотники, мол, глушат по всему району, для безопасности. А какие тут беспилотники, посреди болот да ельника? — и махнул рукой: дурят нас тут всех, Анечка. Вот при союзе...

Аня покивала и попятилась к калитке: про «при союзе» она наслушалась ещё в детстве и лезть в это не хотела — ни тогда, ни теперь.

Да и бог с ним, с интернетом. Объявление она даст, когда вернётся в город.

За окном уже смеркалось, по-октябрьски рано.

Она отвернулась и пошла вниз, за следующими банками.

* * *

Во дворе пахло дымом и прелым листом — за огородами жгли ботву, тянуло гарью. Кто-то уже топил печь — октябрь катился к концу, ночами прихватывало, — а от станции долетал мерный злой стук: крыли крышу к холодам, били по железу, и звук разносило на полпосёлка. Аня вынесла к машине вторую коробку с тряпьем под выброс, опустила в багажник, разогнулась, вдавив кулак в поясицу, — не первый день таскала материно барахло, и спина уже толком не разгибалась. По колее прополз, переваливаясь, гружёный дровами «уазик», газанул у поворота, и где-то за ним надрывалось радио. Воздух щипал щёки, не мороз ещё, но колкий.

Через дорогу, у себя во дворе, на чурбаке сидел Степаныч и что-то строгал. Между колен зажата доска, рубанок ходил по ней с одним и тем же сухим шорхом, стружка вилась и сыпалась деду под ноги. Старый, жилистый, в телогрейке нараспашку и съехавшей на затылок шапке. Головы он не поднял, но Аня и так знала — видит. Он эту улицу видел лет сорок и в темноте бы разобрал, кто по ней идёт.

— Здравствуйте, Виктор Степаныч.

Получилось по-здешнему, само, — как в детстве, когда здоровались с каждым взрослым у калитки.

— Здорво. — Рубанок не сбился. Прошёл доску раз, другой. — Уезжаешь, что ль?

— Доберу с домом — и поеду. Покупателя бы ещё найти. — Она кивнула на коробки. — Половину на свалку. Мать ничего не выбрасывала, вы знали её.

— Валентину-то. Знал. — Он сдул стружку с доски. — Не выбрасывала, верно.

И больше ничего. Ни про то, что дочь объявилась только теперь, через полгода после похорон, ни про дом, в котором та и при жизни матери не особо показывалась. Просто согласился и повёл рубанком дальше. Аня постояла, не объясняя ничего, и уходить отчего-то не спешила. Пахло свежей стружкой и смолой. Что он там мастерил, она и не спросила — мало ли что строгают старики от скуки, лишь бы руки при деле. Какая разница.

— Дрова-то в дому есть? — спросил он погодя.

— Мне тут не зимовать, Виктор Степаныч.

— Угу. — Шорх. — Все так говорят.

По улице, со стороны пятиэтажек, кто-то протащил к станции чемодан на колёсиках — далеко, лица не разобрать. Аня поглядела вслед. Вот так просто — взять да уехать. Ей-то никто не мешал, могла бы и вчера, и позавчера, — а шёл седьмой день. Почему не едет, думать не стала.

Степаныч поднял наконец голову, глянул на неё — впервые за весь разговор.

— Иди в тепло, — сказал он только. — Студёно.

И опять взялся за рубанок. Сухой шорх пошёл по двору. Где-то за огородами брехала собака, на станции толкнули состав — железный лязг прокатился над крышами и стих. Аня подхватила пустую коробку и двинулась в дом, разбирать дальше, а за спиной у неё дед всё строгал свою доску, неизвестно для чего.

* * *

Не успела Аня даже в дом зайти, как от угла, мелко переступая в галошах на босу ногу, заспешила к ней Зоя.

Маленькая, в платке поверх седого пучка волос и наглухо застёгнутой кофте — мать-мать подруга, сорок лет жившая через забор.

— Анюта! Анют, ты, что ли? — Она тянула руку ещё издали, будто Аня могла растаять, не дойди она. — А я гляжу — машина у дома не первый день, всё думаю, кто это у Вали-то... А это ты! Приехала! Выросла-то, батюшки, я б на улице не признала.

— Здравствуйте, тётъ Зой. — Аня перехватила коробку на бедро.

— Здравствуй, здравствуй, доченька. — Зоя уже держалась за её рукав тёплыми сухими пальцами и не отпускала. Пахнуло от неё валерьянкой и нафталином, застойным теплом дома, где живёшь один. — А я ведь мать твою всё жду, веришь, нет? Выйду утром — и кошусь на её крыльцо: не вынесет ли ведро, не махнёт ли мне рукой. Никак не возьму в толк, что нет её. — Заглянула Ане в лицо. — А ты лицом-то в неё. Вылитая Валя, как насупишься.

Похожа. От этого «похожа» Аня полжизни и бегала.

— Скажете тоже, тетя Зой. — Она отвела глаза, качнула коробкой. — Разбираю вот. Продавать думаю.

— Прода-авать... — Зоя протянула слово, будто Аня сказала что-то нехорошее. — Чужие, выходит, заедут. Ну да дело твоё, дело молодое. — Пожевала губами, заглянула снизу с надеждой: — А погостить-то останешься? Хоть недельку. А то я одна как перст: Валю схоронили, Танюшка к дочери в Боровичи укатила — сижу, сама с собой разговариваю.

— Не выйдет, тетя Зой. Управлюсь с домом — и в город, у меня там сын. — Аня перехватила коробку поудобнее.

— Сын, сын, как же. — Зоя покивала, будто этим всё объяснялось, и порылась в кармане кофты, выудила два слипшихся леденца в мятой обёртке и протянула — Ане, тридцати восьми лет, как протягивают ребёнку. — На вот, держи. — Аня взяла, чтоб не обидеть. — Ты заходи ко мне, слышь. Чаю попью, я пирог поставлю, с капустой, — ты ж маленькая капустный любила, на полпротивня одна сметала. Расскажешь, как ты, как сынок. Большой уже, поди?

— Шестнадцать. — И, чтоб не дать ниточке потянуться дальше: — Зайду, тетя Зой. Вот добыю с домом — и зайду непременно.

«Непременно» вышло гладко, привычно. Мать тоже всё звала на пирог.

Зоя покивала. Потопталась, поправила платок.

— Ну заходи, заходи, не чинись. — Запахнула кофту, побрела назад к своему углу, мелкая, в галошах, и с полдороги обернулась — буднично, будто про погоду: — А дверь-то на ночь запирай, Анют. Запирай, слышь. Мало ли.

— Да не от кого тут, тетя Зой, — сказала Аня, но та уже не слышала — ковыляла к углу, одна.

Аня смотрела ей вслед, пока Зоя не свернула за палисадник. Можно было окликнуть. Сказать — да заходите сейчас, тетя Зой, бог с ним, с пирогом. Окликнуть было нетрудно.

Не окликнула. Занесла коробку в дом и притворила за собой дверь.

* * *

К пяти стемнело, будто вечер кто-то поторопил. Аня разгибалась всё чаще, давила кулаком поясицу и работала, пока ещё различала собственные руки, а потом нашарила на стене выключатель. Лампочка под потолком зажглась — слабая, жёлтая, такая же, как и в погребке. Мать так и не сменила старые на яркие, экономила, как экономила на всём, что касалось её одной.

За день Аня перебрала кухню. Мать не выбрасывала ничего: в шкафу — батарея вымытых банок из-под майонеза, в одной пуговицы, в другой мелочь на чёрный день. Целлофановые пакеты мать разглаживала и складывала вчетверо, как бельё, — их набрался целый ящик. На кой их было гладить-то, мам? Их же выбрасывают. Снабженец в Ане работал быстро и без жалости: это на свалку, это, может, кому отдать. Только дом не кончался — разберёшь полку, а за ней другая. Коробки выстроились вдоль стены, надписанные её рукой: «посуда», «отдать», «на выброс». На третьей она поймала себя за тем, что выводит маркером всё те же короткие слова, какими мать метила крышки в погребке, — тем же манером, тем же скупым сокращением. Она остановилась и дальше складывала молча, без надписей.

Под кухонным окном, на гвозде, висел отрывной календарь — мать вела его, как всё, аккуратно. Аня сняла его машинально, положила в коробку, и он раскрылся сам на исписанных листках. Материной рукой, поперёк чисел: «к Зое за рассадой», «пенсия», «врач, 9:30». «Врач» стояло несколько раз, всё чаще к концу, а одно обведено дважды, с нажимом. Аня смотрела на эту обведённую дату секунду дольше, чем стоило, потом закрыла календарь, не дочитав, и сунула в «на выброс». Не в «отдать».

Дверь в спальню матери она за весь день так и не тронула. Туда — завтра. Туда почему-то всё выходило завтра.

В передней Аня включила телевизор. Не смотреть — для голоса. Подвернулось ток-шоу — студийный смех, реклама поверх. Звук растёкся по комнатам, и таскать оставшееся под него было легче, чем в тишине. Один канал не шёл — серая рябь, по верху белым «нет сигнала». Она перешёлкнула туда и обратно: прочие шли как ни в чём не бывало. Спутник повело, не иначе. Она и бросила.

Есть не хотелось, но Аня спустилась в погреб и достала банку — компот, «вишн.». Ела прямо из банки у тёмного окна, выплёвывая косточки в горсть. Компот, густой и тёмный, настоялся за год в погребе. Вишню эту мать собирала с куста за баней, того корявого, на который маленькую Аню загоняли с миской — «ты лёгкая, лезь, под тобой не обломится». На крышке мать вывела «б/кост.» и, как всегда, чуть приврала: косточки были, вот они, в горсти. Аня доела, слила сироп и поставила пустую банку к пустым, в ряд, этикеткой на себя.

В третий раз проходя мимо спальни, она всё-таки взялась за ручку.

Дверь подалась легко. В комнате пахло матерью — не духами, а тем, чем тянет от старого хворого человека и от жилья, где полгода не открывали окон: лекарством, валерьянкой, пылью. От этого перехватило под горлом так, что нечем стало сглотнуть. Кровать была застелена — мать застилала её всегда, даже хвоя. На спинке стула висела фланелевая ночнушка, приготовленная и не надетая: с вечера мать ещё собиралась её надеть. У кровати, носками к двери, стояли тапки — мать ставила их так на ночь, чтоб утром не шарить, сразу сунуть ноги. Полгода они так и стояли носками к двери. Аня осталась на пороге, не переступив, подержалась за косяк и притянула дверь обратно — тихо, будто внутри спали.

Не сейчас. Завтра.

К ночи поднялся ветер. Зашёл с северной стороны, тронул на чердаке что-то железное, и старые рамы засипели по щелям все разом. Воздух отяжелел, придавило виски — будто перед грозой, хотя откуда в конце октября гроза. Тут скорее снег ждётся. Аня сходила, подёргала входную дверь — заперта, как Зоя и наказывала. Бояться было некого, посёлок как посёлок, у соседей через забор ещё горело окно, — а она всё равно подёргала второй раз. Мало ли.

Спать. В материной спальне Аня не легла бы и под дулом, а диван в передней годился, да только бельё лежало в маленькой комнате — в её, девичьей, куда она за весь день так и не сунулась.

Сунулась теперь — и встала на пороге.

Комнаты не было. Была кладовка. Мать снесла сюда всё, что не влезло больше никуда: коробки до подоконника, поверх — свёрнутые половики, из угла торчал, как удочка, торшер без абажура. Узкая Анина кровать стояла у стены, и на старом покрывале с вытертыми васильками громоздилась та же куча — пакеты, перевязанные бечёвкой стопки газет, коробка из-под сапог, доверху набитая катушками.

Вот тут Аню и взяло. Не горе — злость, сухая и привычная, как опись. Она зашвырнула пакеты в угол, сгребла газеты на пол. Ну зачем? Зачем ты всё это держала, мам? Катушки, газеты за позапрошлый год, мешки тряпья — на что, на кого? Жила одна среди хлама, мёрзла, на лампочках экономила — а в дом тащила и тащила, будто впрок, будто кто-то придёт и спросит. Никто не пришёл. Аня сдёрнула покрывало вместе с кучей, свалила на пол — и под рукой остался голый матрас в синюю полоску, тот самый, не сменённый за тридцать лет.

И злость кончилась. Разом, как вода, спущенная в раковину.

Аня села. Кровать была низкая, узкая, детская — колени вышли выше, чем надо. На этом матрасе она спала до восемнадцати. Отсюда мать стягивала с неё одеяло за угол: «Ань, спишишь.» Сюда садилась, в ноги, когда Аню знобило, клала на лоб руку — прохладную, шершавую.

Дом молчал. За стеной, в спальне, никого. И в кухне никого, и во всём доме, кроме Ани, — никого. Злиться было не на кого, и спросить «зачем, мам» — не у кого. Умом Аня знала это с самых похорон, полгода знала, — а поняла только теперь, на седьмой день, сидя в куртке на своей детской кровати: нет её. Нигде. Не в спальне за стеной, не в погребе — нигде и больше не будет.

Сколько просидела, не считала. Потом легла как была, поверх полосатого матраса, подтянув колени, и накрылась снятой курткой. Завтра спальня. Послезавтра — домой, к своим четырём стенам, а объявление даст уже из города, как собиралась. Кир сейчас, верно, спит, у отца, в тепле. Город отсюда часа четыре езды.

Ветер давил на дом снаружи, и старый дом поскрипывал, устраиваясь на ночь, — теми же скрипами, под которые она засыпала тут девчонкой. Только теперь не своими. В передней бубнил забытый телевизор, подсвечивая дверной проём синеватым. Под этот бубнёж — чей-то студийный смех, реклама поверх — Аня и уснула, не раздеваясь, на детской кровати, тридцати восьми лет от роду.

Глава 2. «Гроза»

Середина октября.

Разбудил её не гром, а свет.

Что-то полыхнуло сквозь веки — белое, короткое, — и Аня открыла глаза в чужой темноте, не понимая ни где стена, ни где окно, ни сколько ей лет. Потолок навис низко и косо, не тот, не материн. Пахло пылью и старой бумагой. Под щекой холодела голая полоса матраса, колени поджаты к животу, как в семь. Девичья. Кладовка. Седьмой день. Она собрала это по кускам, пока за окном копилась новая вспышка.

Ударило. Раскат пошёл по крыше, прокатился через весь дом и осел где-то внизу, в подполе. На чердаке брякнуло что-то незакреплённое, железное, — ветер мотал его туда-сюда. Аня села — и поясницу с одного движения прострелило так, что она сквозь зубы потянула воздух, мысленно припоминая пару ругательств.

Куртка, которой она накрылась с вечера, сползла на пол. Спать легла в чём была, не раздеваясь. За окном полыхнуло снова, выбелив кладовку — коробки до подоконника, торшер без абажура в углу, как удочка, свёрнутые половики на её старой кровати. Гром пришёл следом, ближе. По стеклу хлестало косыми пригоршнями.

Гроза. В конце октября.

Она и с вечера это поймала — духоту, тяжесть в висках, — да отмахнулась. Бывает. Аномальная осень, по телевизору который год талдычат про климат, вот и гром в октябре вместо первого снега. Хотя такой грозы она тут не помнила и летом: шла уже третий час, и не редела, а всё наваливалась. Молнии били почти без передышки, одна не успевала погаснуть, как вспыхивала другая, и гром валил сплошняком, без счёта между вспышкой и раскатом. Над болотами, где и в сентябре-то гроз не бывало. Но думать об этом не хотелось, и Аня не стала. Спустила ноги на холодный пол, посидела, собираясь, пока следующая вспышка не подобралась к самому окну и гром не догнал её почти без задержки. Совсем близко прошло. Над станцией где-то.

В передней дёргался синеватый отсвет — телевизор она забыла выключить, оставила бубнить для голоса, чтоб не в тишине разбирать. Сейчас голос захлёбывался: слово, треск, полслова, шип. Аня встала и пошла на свет, держась за стену.

Лампа под потолком мерцала заодно с экраном — то опадала до рыжего уголька в нити, то набирала обратно. Картинка сыпалась серой крупой. Сквозь рябь, рваными лоскутами, проступала студия — и не то ночное ток-шоу, под которое она засыпала, а другое: тёмный задник, красная плашка, диктор с прямой спиной, губы шевелятся часто и без улыбки, и бегущая строка понизу — не разобрать. Раз только проступило целое слово — «сохраняйте» — и крупа съела его вместе со строкой. Срочный выпуск. Очередной.

Аня и вглядываться не стала. Этих срочных выпусков за последние годы набралось не перечсть, и каждый кричал в лицо, что вот теперь всё, теперь держись, рушится, — а наутро всё стояло где стояло, только на душе прибавлялось по камню. Своей тревоги ей и так хватало.

Она нашарила на диване пульт, щёлкнула. Соседний канал — та же крупа, тот же шип. Ещё один — та же. В сильную грозу всегда так было, дело знакомое: ещё днём один канал шёл рябью, а теперь вот и эти повело. Она подержала палец на кнопке и выключила совсем.

Экран погас — чёрный, с белой точкой посередине, и точка медленно истаяла. Без голоса дом сразу сделался темнее и больше, и грозу стало слышно куда лучше: как она ходит снаружи, обкладывает посёлок со всех сторон, бьёт по крышам, по огородам, по тёмным окнам напротив. В неплотную раму, в щель, несло сыростью и холодом.

Аня подошла к двери — заперта, с вечера Зою послушалась. Постояла, держась за холодную щеколду. Толку с той щеколды в такую грозу было чуть, она это понимала, — а руку сняла не сразу, будто от того, что заперто, на улице делалось спокойнее.

Молния развернулась за окном во весь проём, долгая, в полнеба, и пока не погасла, двор напротив выступил из темноты весь как есть. Тёмный дом Степаныча, без огонька. Чурбак у крыльца. И доска, которую он днём строгал, брошена тут же, под дождём, мокрая, в чёрных потёках, — не убрал под навес, прозевал грозу. Темнота вернулась раньше, чем Аня успела толком разглядеть. Гром накрыл двор сверху, раскатистый, грузный.

Спит дед и в ус не дует. Старикам гроза нипочём, спят как убитые.

Спать. Аня вернулась в кладовку. В материну спальню она бы и сейчас не легла, ни за какие коврижки, — а тут хоть стены знакомые, пусть и в коробках до потолка. Улеглась обратно, лицом к стене, подтянула колени и натянула куртку до подбородка. Гроза катала своё над крышей, дом отзывался каждым стропилом, и железо на чердаке всё мотало и мотало ветром.

Уснуть не давала не гроза — гроза была своя, привычная с детства. Не давало другое: где-то над головой, в темноте, застучало — редко, тяжело, не в лад дождю. Кап. И, переждав, снова — кап. Аня полежала, послушала. Текло с потолка, в дальнем углу за коробками, всё чаще, всё разборчивее: старая крыша где-то сдала под напором. Она тихо выругалась, сползла с матраса в чёрный холод комнаты, на ощупь добралась до сеней, нашла пустое ведро и подставила под течь. Капли пошли бить в жёсть — гулко, мерно, отсчитывая в темноте что-то своё.

Под курткой она долго не могла отогреться, и сон не шёл. Лежала, слушала. Ведро капало. Дом вокруг потрескивал и кряхтел, ворочался под ветром — старый, материн, оставшийся без хозяйки: где крыша протекла, где рама не держит, где половица отошла. Чинить это было некому и незачем. И впервые так ясно: дом уже ничей — мать в земле, сама она к утру укатит, — стоит один в грозе, и она в нём последний постоялец на одну ночь. Аня заставила себя не слушать ни ведро, ни дом, и стала ждать утра.

Кир сейчас спит. В городе, у отца, в тёплой комнате, где не сипят рамы и не несёт дождём в окно. Может, и грозы там никакой — город в четырёх часах, у грозы свой нор, обходит стороной кого захочет. Аня закрыла глаза. Завтра доберёт спальню — и домой, к своим четырём стенам, где всё на своих местах и никто ничего от неё не ждёт.

Под утро гроза ушла. Аня этого уже не слышала.

* * *

Проснулась уже от холода.

Куртка ночью опять сползла, и кладовку выстудило — от стен тянуло погребной сыростью. Аня полежала, не разлепляя глаз, подтянув колени к груди: вставать не хотелось до зубовного скрежета. Спина за ночь на голом матрасе встала колом, шею перекосило набок. Спала чёрт-те как — на чём попало, в одежде, как студентка в общежитии после сессии.

За окном — серое утро без солнца, из тех, по каким часа не определишь: что семь, что одиннадцать, одинаково мутно. После грозы осталась капель: с крыши, с водостока мерно текло, должно быть, в бочку под застрехой. Аня села, размяла ладонью шею. Со станции долетело — состав толкнули, лязгнули сцепкой, протяжно, по-железному, и звук покотился над мокрыми крышами и затих где-то за пятиэтажками. Тянули порожняк под погрузку, как каждое божье утро, сколько она себя тут помнила, — она и ухом не повела.

Где-то топили: в форточку вместе с сыростью несло горьковатым печным дымком. Жив посёлок, шевелится потихоньку.

Сегодня спальня. Аня сказала это себе ещё с вечера и теперь повторила, спуская ноги на выстуженный за ночь пол: добьёт материну комнату, последнюю, что осталась неразобранной,

— и можно с чистой совестью грузиться и ехать. Дверь в спальню была тут же, наискось через прихожую, белёная, с фарфоровой ручкой, притворённая со вчерашнего — с того раза, как Аня сунулась туда и не переступила порог. Аня поглядела на неё от кладовки и отвела глаза.

Сначала чаю. И телевизор — для голоса, работать в пустом доме молча было не вмоготу, чужая болтовня хоть как-то разбавляла тишину. Аня прошла в переднюю, щёлкнула кнопкой. Экран занялся серым и серым остался. Та же крупа, что ночью, по всему полю, и поверху, белым по серому: НЕТ СИГНАЛА. Она прошлась по каналам — раз, другой, пятый. Везде одно: снежная рябь да три слова поверху. Ни ток-шоу, ни новостей, ни рекламы.

Антенну сбило, ясно. Или тарелку своротило ветром — вон как ночью мотало, чему ж не своротиться. Лезть по мокрому шиферу на крышу из-за телевизора Аня не собиралась, не хватало шеи свернуть. Выключила.

Без бубнежа дом навалился тишиной, и притворённая дверь за стеной придвинулась ближе. Аня постояла. Ну и ладно. Спальня никуда не денется, успеется до отъезда, а сейчас, пока то да сё, можно и сени разобрать — там коробка с зимним тряпьем, и в сарае пустые банки горой, их бы вынести. Она обрадовалась этим коробам, сама не зная чему, и пошла в сени, мимо белёной двери, не глянув на неё второй раз.

В сенях было холоднее, чем в доме. Аня перетаскивала коробка к порогу по одному, надсадно, — спина отзывалась на каждый. Лампочка под потолком мигнула раз, другой и устояла. Аня не подняла головы. В приоткрытую на улицу дверь сквозило мокрым холодом, и по раскисшей дороге протарахтел чей-то мотоблок, обогнул лужу у колонки и стих за поворотом.

Короба пахли пылью и нафталином, в одном — подшитые валенки на всех, кого в этом доме давно не было. Серое за окном не светлело и не темнело, будто кто остановил день на середине.

Работа была мелкая, дурацкая, нескончаемая — и Аня взялась за неё зло, споро, с головой. За годы в закупках она наострилась всякую кучу делить на три: это в дело, это на выброс, это, может, уйдёт с домом, — и руки делили сами, не спрашивая, что там, в куче. Развязать, перетряхнуть, рассортировать, увязать обратно, оттащить к порогу. Спина выла, пальцы дубели на холоде — и пусть. Пока руки заняты, в голове не оставалось места на лишнее: ни на мёртвый с утра телевизор, ни на пустой дом, где только и слышно, как с ночи капает в подставленное ведро.

В третьем коробе, под слежавшимся тряпьем, Аня нащупала что-то твёрдое. Приёмник — старый, транзисторный, в коричневом кожаном чехле с ремешком, мать таскала его в огород: поставит на межу и полет под бормотанье. Аня крутнула колёсико — думала, мёртвый, а он зашипел, батарейки держали. Она повела стрелку по шкале, медленно, до упора и обратно. Треск да шип. Ни музыки, ни слова — от края до края. Перещёлкнула на другой диапазон, прошлась и там. То же самое.

Выключила. Приёмник был целый, рабочий, с чехлом — такие на барахолке уходят. Аня отёрла с него пыль рукавом и отложила к тому, что, может, уйдёт с домом.

К исходу этого мутного утра — или дня — Аня умаялась и опустилась на короб передохнуть. Телефон лежал в кармане куртки. Она вытащила его, поглядела на тёмный стеклянный прямоугольник. Кир. Вчера разговор смялся, оборвался на «иди к своим», и с тех пор сидела заноза — будто недодержала трубку, недосказала. Наберу. Спрошу хоть, как он там, поел ли. Скажу — гроза тут, телевизор сдох. Что-нибудь скажу.

Аня нашла его номер и поднесла телефон к уху.

Гудки пошли не вдруг: в трубке щёлкнуло, шикнуло, будто пробивалось откуда-то издалека, — и потянулись длинные. На третьем Кир обычно отзывался — домотав своё, нехотя, но отзывался, и Аня ждала привычного «ма», полусонного, с писком стрелялки за спиной. Третьего не было. Гудки шли и шли, длинные, в никуда.

Спит ещё. Или засел в свою игру, наушники в уши — тут хоть из пушки пали, не докличешься. У отца ему хорошо, телефон где-то под подушкой жужжит, а он и не глянет, кто там. Аня держала трубку у уха и считала гудки. Считать без толку она наловчилась за всю жизнь. На десятом оборвалось. Она набрала ещё раз. Теперь гудков не пошло вовсе: пустая тишина, потом частые, drobные, и снова тишина. Ни голоса, ни автоответчика. Ничего.

Вышку, может, молнией бахнуло? После такой грозы чему не полететь.

Аня опустила телефон. Кольнуло — то самое, тихое, как недостача в накладной, которую и спрашивать ни с кого не станешь. Отметила и убрала, как привыкла.

Телефон в карман, два короба от порога — в руки, и к машине: свезти на свалку, раз всё одно разгребает.

На улице было сыро и серо, пахло мокрой землёй. По колее налило луж, в них плавали палые листья. Аня откинула крышку багажника, пристроила короба к прочему хламу и, прежде чем идти за остальным, обошла дом — глянуть, что гроза натворила в огороде.

Натворила, в общем, немного: брать там по осени всё одно было уже нечего. Грядки раскисли и почернели, в низине у забора стояла вода — хоть карасей разводил. Ботву, что жгли позавчера, разметало по меже и прибило дождём — мокрые чёрные клочки. Бочка под застрехой набралась до краёв и текла через верх. С яблони-дички у сарая обтрясло последние яблоки, побил оземь, и они валялись в мокрой траве, бурые, никому уже не нужные. Аня прикинула привычно: возни на полдня — и то если возиться. А возиться она не станет, продаст как есть, новые хозяева пускай и копаются.

За покосившимся пряслом, за огородами, начинался лес — тёмный, мокрый, сплошной стеной, и низкая хмарь висела над ним, цепляясь за верхушки. Где-то там, за лесом, шла дорога на город — сядь да поезжай, к вечеру была бы дома. Аня поглядела в ту сторону, в серую муть над ельником, без всякой мысли, просто так, и отвернулась. Во дворе через три дома кто-то мерно тюкал топором, колот на растопку. Посёлок отходил от грозы как от всякой непогоды: буднично, не спеша.

— Анют! Анюта! — окликнули от угла, и Аня обернулась от багажника. По лужам, в галошах, спешила к ней Зоя.

Не как вчера заспешила. Платок сбился набок, руки она держала под грудью, комкала концы шали.

— Анют... Анюта... — Зоя ухватила за крыло машины, перевести дух. — Сердце не на месте, Анют. Танюшка-то, подружка моя, как сквозь землю. Уехала к дочери в Боровичи, звонила оттуда каждый вечер — а уж вторые сутки молчок. И сама трубку не берёт, и у дочки одни гудки. Сроду так не пропадала.

— Может, телефон потеряла. Или зарядку забыла. С ней бывало?

— Да бывало, бывало, — Зоя ухватила было за это, да тут же и выпустила. — Только не этак, чтоб разом замолчать. Она хоть и вертихвостка, Танюшка, а позвонить ей святое: жива, мол, тетя Зой, не померла ещё. А тут как отрезало. — Платок поправила. — Места себе не нахожу. Дорога-то нынче сам видишь какая, развезло, а дочка её гоняет как оглашенная — не приведи бог чего.

Гудки в пустоту. Те же, что у неё минуту назад. И Аня сказала — раньше, чем подумала, тем самым тоном, каким только что уговаривала себя:

— Да связь же барахлит, тетя Зой. Тут и до грозы еле ловило, а нынче, после такой, и вовсе всё полегло. Я вот сыну дозвониться не могу — точь-в-точь, гудит и обрывается. Наладят — и Танюшка ваша объявится, никуда не денется. Сидит небось у дочки, чай гоняет, а телефон не ловит.

— Думаешь? — Зоя глянула снизу, цепко, с надеждой, и от этого взгляда Ане отчего-то сделалось совестно. — Дай-то бог, твоими б устами. А то я нынче всю ночь глаз не сомкнула, чего только не передумала. — Снова поправила платок, чуть отпустило её. — И то сказать,

гроза была страшная, отродясь такой в октябре не видывала. Я под образа села, как громы-хвать пошло. А Жулька на цепи выла всю ночь, не унять было. И не одна она — по всему краю псы голосили, до самого света. У меня и парник повалило, рамой об раму хлопало до утра, думала, стёкла высадит. — Она оглядела двор, машину, короба у багажника. — А ты, гляжу, всё собираешься. Скоро уедешь?

— Доберу с домом — и поеду.

— Поедешь... — Зоя пожевала губами, покивала. — Вот и ты уедешь. Валю схоронили, Танюшка вон пропала, ты уедешь — и останусь я на весь край одна, как пень. — Сказала без слезы, без жалобы, будто речь не о ней. — Ну да что ж теперь. Наладится, бог даст. Объявится Танюшка.

«Наладится» она повторила за Аней, как берутся за поручень в трясущемся автобусе.

— Ты заходи всё ж, Анют. Чаю бы... — Зоя осеклась, видно, опять про Танюшку вспомнив, и про пирог уже не договорила.

— Зайду, тетя Зой. Дай только с домом развязаться.

Зоя покивала, потопталась, поправила шаль и побрела назад, к своему углу — по лужам, в съехавшем платке, маленькая, одна.

Аня не пошла за ней. У себя можно молчать, и никто не глядит на тебя снизу с надеждой.

За станцией протяжно загудело, состав тронулся и пошёл — дневной, обычный, тот самый, под который весь посёлок жил и которого давно не замечал. Аня постояла у машины, послушала, как он набирает ход, постукивает на стыках и уходит за лес. Наладят связь — и Кир возьмёт трубку, и Танюшка отзвонится. Всё наладится, всё станет как было.

Она захлопнула багажник и вернулась в дом — к коробам, к сениям, к делам, которых, если не спешить, хватит ещё на день. А то и на два.

Глава 3. «Посёлок»

Третья неделя октября.

На девятый день Аня собралась в посёлок — закрыть дела перед отъездом.

За хлебом она ходила, и короба на свалку возила, а вот к людям так и не выбралась за всю неделю: всё дом, погреб, сени и снова дом, по кругу, лишь бы ни к кому не заходить и никого не пускать к себе. А теперь надо было. Дом отметить к продаже — в администрацию, к председателю, чтоб не таскаться после из города ради одной бумажки. На дорогу чего-нибудь взять. И с теми, мимо кого не пройдёшь, проститься по-людски — раз уж выросла тут, раз уж мать сорок лет с ними через забор здоровалась.

Ключи от дома висели на гвозде у притолоки, где мать держала их, сколько Аня себя помнила. Сняла — тяжёлую вытертую связку: от погреба, от сарая, от какого-то амбарного замка, к которому и двери уже не осталось. Сунула в карман куртки. На притворённую спальню глянула от порога — туда после, как вернётся.

Аня переступила порог. Во дворе после грозы было зябко, пахло мокрой землёй, прелым листом и холодным железом. В лицо тянуло сыростью и дымной горчинкой — Зоя печку топила. Спину, за неделю над коробками намятую, на воле понемногу отпускало.

От станции доносило мерное погромыхивание — гоняли вагоны по путям, дело привычное, утреннее. Где-то позади стучали по железу — кровлю чинили. Собака за огородами гавкнула пару раз и умолкла. У колонки двое мужиков о чём-то спорили.

Напротив, на своём дворе, Степаньч колот дрова. Телогрейка опять нараспашку, хоть с утра и холодно. Колун опускался коротко, без замаха, и полено всякий раз распадалось надвое с сухим хряском. Кучу наколот уже добрую — к холодам готовился заранее, как всегда.

— Здравствуйте, Виктор Степаньч.

— Здорво. — Степаньч не разогнулся. — Всё собираешься.

— Дом отметить еду. К продаже.

— Угу. — Поставил полено на колоду. — Керосинки-то в дому есть?

— Не глядела. Должны где-то быть, мать не выбрасывала.

— Возьми у меня пару, как пойдёшь. — Колун опять пошёл вниз. — В магазине-то они есть, да дрянь жестяная. У меня добрые, ещё советские.

— Да мне тут не зимовать, Виктор Степаньч. Ни к чему они мне.

— Угу. — В это «угу» Степаньч укладывал всё, чего вслух про её отъезд не говорил. — Свет вон скачет который день, вечер и вовсе сел, у меня керосинка ночь на столе простояла. Возьми. Не объешь старика.

Аня потёрла пальцем пустую бороздку на безымянном. Спорить с ним было что воду в ступе толочь.

— Спасибо. Зайду на обратном пути, возьму.

— То-то. — Степаньч мотнул бородой куда-то в сторону станции. — Фуры второй день не идут. То ли где деревом дорогу завалило, то ли на складе со светом чего — кто их разберёт. Хлеба в магазине нет, бабы давеча шумели. Привыкли всё с колёс жить, а чуть перебой — и сразу как без рук. Ну да образуется, подвезут.

Образуется, подвезут. Аня и сама так подумала бы, дай себе труд подумать: от грозы где-то провода оборвало или дорогу завалило — не впервой. Снабжение тут и в добрые годы хромало. Посёлок как посёлок, чего с него взять.

— Мне идти, Виктор Степаньч. Пока в администрации сидят.

— Иди, иди. — Он поднял наконец голову, глянул на неё коротко, из-под шапки. — Зима в этом году рано ляжет. Чую по пояснице. — И снова за колун. — Лампы не забудь.

Аня кивнула и пошла со двора. За спиной снова хряснуло полено — Степаныч и не глядел ей вслед. Улица повела к центру, где посёлок делался гуще и громче.

* * *

До центра было недалеко, но Аня пошла пешком — машину ради двух дел заводить не стала. Материн дом стоял на отшибе, у самого леса, а дальше посёлок густел постепенно. Сначала домики с огородами, как у неё, — только старый осевший сруб стоял тут через один с новеньким, в сайдинге и под металлочерепицей. Уезжая, Аня помнила серые избы, а посёлок, пока её не было, отстроился чуть не наполовину: профлист, спутниковые тарелки, джип под окном. Дальше дома пошли теснее, потянулись двухэтажные бараки в подтёках, с поленицами и мёрзлым бельём, и разбитая колея под ногами сменилась латаным асфальтом.

Посёлок жил своё утро, как жил всегда. Под задранным капотом «Нивы» возился мужик, перекликался с кем-то в глубине гаража. Старуха с сумкой-тележкой одолевала дорогу к магазину, встала посреди — отдышаться. От одного двора тянуло хлебом: держали ещё скотину. В другом визжала бензопила. Аню провожали взглядами — узнавали и не узнавали, — а у колонки мужик распрямился, пригляделся дольше, чем к прохожей: «Валентины дочь, что ли? Вернулась?» Аня кивнула, не останавливаясь. Двадцать лет. Половину тех, кто помнил её девочкой, она бы и сама теперь не назвала.

На углу, у обелиска с жестяной звездой и пластмассовыми гвоздиками, мёрзла стайка подростков — те же, что в любом дворе любого города, только в шапках и пуховиках, и так же не отрывались от телефонов, нахохленные, в наушниках. За их спинами тянулись заборы, а за заборами — школа, та самая, откуда Аня когда-то бегала этой же дорогой к станции встречать мать. Отпросится, бывало, с последнего урока, станет на холодной платформе и ждёт, пока из вечернего поезда не покажется материна косынка, не повеет от сумки городом и чем-нибудь к чаю. Школа была та же, только окна новые, белые, и из-за забора нёсся гомон большой перемены.

Слева, за крышами и голыми тополями, открылась станция — приземистый вокзал, водоканчка, товарные склады, и от неё во все стороны разбежались рябые от ржавчины пути. Где-то на них маневровый таскал вагоны, лязгал сцепкой — глухо, вперёбой, уже не как из дома, а близко, отдаваясь в подошвы.

Ближе к центру всё мешалось без разбору: частный домик с огородом — и впритык трёхэтажная общага, «Магнит», кирпичная аптека. Тут уже был тротуар, щербатый и в наледи, и по нему шёл живой утренний люд — с сумками, с детьми за руку, кто в магазин, кто из. У «Магнита» курили мужики, поодаль урчал старый «жигуль». Серый Дом культуры с афишей субботнего кино стоял запёртый до вечера.

Чуть дальше, через дорогу от «Магнита», стояла и «Пятёрочка» — вела с ним свою незримую войну, переманивала тех же старух теми же жёлтыми ценниками. На её стеклянной двери белел тетрадный листок: «Хлеба нет, завоз будет». Аня скользнула взглядом, прошла мимо — заглянет на обратном, возьмёт на дорогу, что найдётся.

Администрация стояла особняком — двухэтажная, с облезлой краской, под выцветшим триколором. На крыльце председатель — грузный, в распахнутой куртке — препирался со старухой в пуховом платке, по виду не первый час.

— Ну выsr... — Председатель осёкся, проглотил. — Ну откуда я тебе эти фуры возьму, Михайловна? Гроза вон какая была — за Горелкином деревом трассу завалило, на складе свет вышибло. Потерпи неделю — будет завоз, будет хлеб, всё будет. Не повезу ж я его тебе из Горелкина на горбу.

— Так нету хлеба, Петрович. Второй день.

— Да есть хлеб! Утром привезли, лежит на полке. — Он мотнул рукой в сторону магазина.

— Это? Я таким и свинью кормить постыжусь.

— Это фитнес-хлеб называется. Полезный! Поедим — глядишь, похудеем всем посёлком. А то по здоровью показатели такие, что в район отчёт слать совестно.

— Тебе, Петрович, первому похудеть не мешало бы, — не осталась в долгу старуха.

— Михайловна. — Он набрал воздуха. — Не доводи до греха. Иди, куда шла.

Старуха поджала губы, связываться не стала, побрела прочь. Председатель выдохнул, обернулся на новые шаги, смерил Аню взглядом — городскую куртку, незнакомое лицо.

Породу эту Аня знала по прежней работе. Кто дорвался до раздачи — хоть склад, хоть гуманитарку, хоть очередь за тушёнкой, — тот первым делом тебя обмеряет: свой, чужой, по какому вопросу, можно ли отказать.

— Здравствуйте. Я по дому Зуевой — Валентины, Полевая, двенадцать. Дочь. — Говорила коротко, по-деловому: с такими меньше слов — меньше зацепок. — Уезжаю на днях. Хочу, чтоб дом числился на продажу. Что для этого нужно?

— На продажу. — Он будто бы даже порадовался, что не о хлебе. — В наследство вступили? Свидетельство на руках?

— Оформляю. Через нотариуса, в городе.

— Вот оформите — тогда и милости просим. Без свидетельства не положено, у нас порядок.

— Мне не «тогда». Мне уехать. — Голоса она не повысила. — Сейчас что могу?

Председатель поскрёб щетину.

— Сейчас — заявление. Что дом за вами, стоит пустой, на продажу. Подошьём, будет числиться. — Качнул головой на улицу. — А то вон Поляковы съехали к дочке под город, неделю как, дом бросили — и уже кто-то наведался, форточку выставил. Пустой дом зимой растащат, не углядишь.

Аня кивнула. Дом и правда незачем бросать пустым на зиму — растащат. Она и сама затем спешила продать.

— Заходите, выпишу бланк.

Вблизи, в полутёмном прокуренном кабинете, лицо у него было серое, под глазами набрякло. Пахло холодным чаем и бумажной пылью, копившейся тут не один год. Он тяжело опустился за стол — на ремне глухо брякнула тяжёлая связка ключей, — выдвинул ящик.

— Третьи сутки не сплю толком, — обронил, будто себе. — То завоз, то свет скачет, то баба эта воеет. Жена слегла, а тут хоть разорвись. — Не договорил, выложил бланк на стол.

Бланк был серый, слепая копия, четвёртый или пятый прогон под копирку. Ручка на холоде писала через раз, и Аня расписала её на уголке. Заполняла стоя, у края стола, мелким привычным почерком: фамилия, адрес, «прошу учесть».

— А что не остаёшься? — спросил он вдруг. — Дом добрый, хозяйство. Зимовать кому-то надо, а толковых рук вечно не хватает.

— Не останусь. — Она дописала, поставила число. — Сын в городе. Мне к нему.

Он не настаивал. Аня и не ждала: для него она была из тех, кто приедет, продаст и поминай как звали. Председатель пришлёпнул печать, бросил лист в папку.

Дело было закрыто — почти. Оставался магазин да свой угол. Аня поблагодарила, вышла. Мороз за разговор успел пробраться под куртку. Она запахнулась и пошла назад, к «Пятёрочке».

* * *

К «Пятёрочке» Аня вернулась уже на обратном пути, с делами в администрации покончив. Дёрнула холодную стеклянную дверь — в лицо дохнуло магазинным теплом: картоном, мокрой тряпкой, которой возили по полу, дешёвой колбасой из витрины. Кассирша у единственной открытой кассы скучала, гоняла в телефоне шарики.

Аня пошла вдоль полок, и взгляд сам собой, по старой памяти, принялся считать. Нормального хлеба не было — пара позавчерашних засохших батонов да тот самый фитнес-хлеб, что нахваливал председатель, нетронутый: его тут не брали. Зато гречка, соль, тушёнка стояли стеной — то, что берут впрок и что не успевает разойтись. Обычная картина для магазина, куда не пришла фура. Аня видала такие полки всю жизнь. Пустое место на полке пугало её не больше, чем прочерк в накладной.

У хлебного топталась старуха в платке, перебирала засохшие батоны, будто среди них мог найтись свежий.

— Второй день без хлеба держат, — буркнула она, ни к кому не обращаясь. — При советах за такое с должности гнали. — Сощурилась на неё. — А ты чья будешь? Не припомню что-то.

Аня не ответила, отошла к бакалее.

У кассы молодая женщина выкладывала на ленту покупки — позавчерашний батон, тот самый, пачкупельменей подешевле, пакет молока. Считала мелочь в ладони, шевелила губами и пельмени отложила обратно. Девочка лет пяти жалась к её ноге, не выпускала из кулака что-то своё — не то фантик, не то камушек, — и тянула мать за рукав, кивала на шоколадки у кассы.

— Ма-ам.

— Нет, Даш. Дома есть.

Девочка не заныла, не повалилась на пол, как валяются городские, — просто отвернулась и сжала кулак крепче.

Аня взяла своё — печенье да бутылку воды в дорогу, — расплатилась и пошла к двери. И уже у выхода нашарила в кармане куртки что-то твёрдое: два слипшихся леденца в мятой обёртке. Те самые, что сунула ей Зоя, — провалялись всё это время в кармане. Сама не зная зачем, Аня вернулась, присела перед девочкой на корточки, протянула на ладони.

— На. Держи.

Девочка глянула на мать — можно ли, — и взяла, серьёзно, без улыбки. Мать дёрнулась было, но смолчала, только кивнула: спасибо.

Что-то царапнуло — мелко, вскользь, и тут же прошло. Кир в её годы такой же был. Давно. Аня выпрямилась, кивнула матери и пошла, пока не вышло чего лишнего. Едва сводят концы с концами, прикинула на ходу. Таким зимой туго. Не её забота. Завтра её тут не будет.

На улице за это время посерело ещё гуще, день клонился к раннему вечеру. Администрация, магазин — всё. Оставались свой угол да Зоя, и можно собирать машину. Аня подняла воротник и пошла назад, к окраине — мимо станции, к своему краю.

* * *

Назад Аня шла уже в густеющих сумерках. Темнело тут по-зимнему рано: к пяти от дня осталась серая муть, в которой дома чернели глыбами, и кое-где уже желтели окна. Фонари вдоль улицы не зажглись. Аня прошла под одним столбом, под другим — все тёмные. Отметила по привычке и тут же списала: свет по посёлку который день скачет, да половина этих фонарей, сколько она себя помнила, и так не горела. Чему гореть?

На своём краю Степаныч ещё возился во дворе — складывал поленья под навес, в густеющей темноте, на ощупь. Аня перешла дорогу.

— За лампами, — сказал он, не дав ей открыть рта, и мотнул головой на крыльцо. — Там завёрнуты, две. Бери.

Свёрток оказался тяжёлый и холодный, пальцы сразу прихватило. Пахнуло керосином.

— Спасибо, Виктор Степаныч.

— Фитиль сразу не выкручивай, коптить будет. — Он подхватил последние поленья. — Ну, бывай.

И отвернулся к дровам, будто её уже и не было.

От углового двора окликнули — Зоя стояла у калитки, в наброшенной на плечи шали, будто кого ждала. Кого ей было ждать, Аня не знала. Да, видно, Зоя и сама ждала просто так, чтоб не одной.

— Анюта! Чего ж мимо-то?

Аня подошла. От Зои привычно пахнуло валерьянкой и нафталином, тёплым старушечьим духом.

— У Степаныча постояла, я видела. — Зоя поджала губы. — А мимо меня всё бочком.

— Дела были, тетя Зой. Дом ходила оформлять.

— Домá твои... — Зоя отмахнулась. — А моя Танюшка так и не отозвалась. Третий день. И сама молчит, и дочка. Я уж и звонить бросила — без толку. Уж не знаю, что и думать.

— После такой грозы везде легло, тетя Зой. Дадут связь — отзвонится ваша Танюшка.

— Дай-то бог. — Зоя помолчала, потом подняла на Аню глаза. — А ты, стало быть, совсем уезжаешь?

— Доберу дом — и поеду. На днях уже.

— На днях. — Зоя поглядела на неё снизу, долго, потом отвела взгляд. — Ну, поезжай. Чего тут высиживать. — И, помолчав, поймала Аню за руку, сжала — пальцы сухие, тёплые, неожиданно цепкие. — Только зайди перед дорогой. Слышишь? Не по-людски ж — уехать, не простясь.

— Зайду, тетя Зой. Перед отъездом.

Сказала мягче, чем думала, и сама на себя подсадовала. Руку высвободила.

Пошла к своей калитке. На углу обернулась раз: Зоя так и стояла, маленькая, на фоне жёлтого своего окна, смотрела вслед. Аня не помахала. Отвернулась и пошла.

Свой двор встретил темнотой и холодом. А по всему краю топили — над крышами висел дым, в окнах горел свет, посёлок укладывался на ночь, тёплый, живой, как всегда. Над её трубой одной дыма не было: материну печь Аня за девять дней так и не растопила — городская, не умела, да и незачем, со дня на день уезжать. Грелась обогревателем, пока был свет, спала в кофте. Не зимовать же. Со станции долетел вечерний состав — мазнул дальним светом по тёмным огородам и пропал за лесом. Привычный звук, домашний. Аня и не вслушалась.

Дела были сделаны: дом отмечен, на дорогу взято, с людьми простилась. На днях — домой. В город, где можно запереть за собой дверь, и никому до тебя нет дела, и тебе ни до кого.

Аня толкнула калитку, прошла двором и притворила за собой дверь.

Глава 4. «Тишина»

Конец октября. Связь пропала.

Аня открыла глаза в темноте.

Не от грома — гроза отгремела позапрошлой ночью и ушла, оставив холод и эту глухую тишину, в которой не было даже ветра. Не от сна — он не запомнился, а может ничего и не снилось. Просто открыла глаза, и сердце шло чуть быстрее, чем надо, будто её толкнули в плечо.

Спросонок она не понимала, где спит. Не дома: дома над ней был свой потолок, белый и гладкий, а тут в темноте горбатилась тень серванта, вдоль стены угадывались коробки — материна жизнь, которую Аня же сама и разобрала, надписала, составила в очередь на выброс. Привыкнуть к этому так и не вышло.

Что-то её подняло. Аня лежала и перебирала: что? Беспричинного она не терпела — снабжение приучило искать причину раньше, чем успеешь испугаться. Дом? Старый материн дом всю ночь кряхтел по-стариковски — оседали балки, тянуло холодом из сеней, в кухне сама собой пощёлкивала остывающая половица, на стене тикали ходики, которые она всё забывала остановить. В подполе капало, медленно, как и в первую её ночь здесь. Всё это было на месте. Всё это она давно перестала слышать.

Аня лежала под одеялом и поверх него — в кофте, не раздеваясь, как спала тут все десять ночей, потому что к ночи дом выстывал и обогреватель не брал этого холода. Лежала и чего-то ждала — сердце ещё не унялось, — а чего, дошло не сразу.

Поезда.

Посёлок стоял на железной дороге и жил под неё. Днём на станции громыхали маневровые, перегоняли вагоны через стрелки. Ночью шли товарные — длинные, тяжёлые, они катились где-то за огородами, и до отшиба звук доходил ослабленным, мерным, баюкающим. В первые ночи он её будил — она вскидывалась от дальнего лязга и потом долго не засыпала. Через две-три ночи перестала просыпаться, через неделю — слышать вовсе: поезд сделался частью дома, одним из его привычных ночных шумов. Она и не слушала его — привыкла, как привыкаешь к дыханию того, кто спит рядом: пока идёт, не замечаешь, а собьётся — проснёшься. Сейчас сбилось. Следующего состава не было.

Ну и пусть, сказала она себе. Ночью не каждые полчаса ходят. Прошёл, пока спала, — на излёте и разбудил, оттого и открыла глаза. Или после грозы сбился график: подмыло где-нибудь насыпь, чинят пути — днём же стучали по железу. Аня перевернулась на другой бок, подтянула одеяло к подбородку, велела себе спать. Утром добить спальню — единственную комнату, в которую она за десять дней так и не вошла, — снести оставшееся в коробки, найти кого-нибудь с «газелью». И всё, и ноги её больше не будет в этом сыром углу с его скрипами и сквозняками. Дел на день вперёд, не до товарняков.

Но не спалось.

Она лежала с открытыми глазами, и в тишине проступало лишнее — то, что обычно глушит фон. Кровь толкалась в ушах, частая, своя. Дом тикал и поскрипывал, как всегда, и в этой тишине его мелкие звуки лезли в уши, как не лезли никогда. Слишком тихо снаружи — и оттого слишком слышно изнутри.

Где-то далеко, за огородами, поднялся вой — протяжный, тонкий. И на середине его что-то бахнуло, коротко и глухо, — вой оборвался. Аня вздрогнула, затаилась.

Она ждала того, что всегда идёт за выстрелом: лая по дворам, хлопнувшей двери, чьего-нибудь окрика в темноту. Раньше выстрел среди ночи поднимал полпосёлка — кто к окну, кто на крыльцо, собаки заходились разом по всем дворам. А теперь — ничего. Ни одна собака не отозвалась, ни одно окно не зажглось. Будто никто его и не услышал — или услышали, да

носа из-под одеяла не высунули. Аня лежала, не дыша, ловила хоть звук, хоть шорох. Темнота за окном была глухая, без дна. Пальнул кто-то спяну или по зверю, дело знакомое, сказала она себе, — и сама же не поверила: знакомое кончается шумом, руганью, светом в окне, а это кончилось ничем. Собака, наверное. А может, и не собака.

Аня поймала себя на том, что считает. Палец привычно тёр пустую бороздку от кольца, а в голове она перебирала назад: когда в последний раз был поезд? Вечером, как вернулась от Зои, — да, прошёл за тёмными крышами, она тогда и не вслушалась, отметила краем и забыла. А днём? Днём, в центре, у станции лязгало совсем близко — таскали вагоны, отдавало в подошвы. Маневровый, в счёт не идёт. А ночью — прошлой? Позапрошлой, под грозу? Аня перебирала дни — Степаныч с колуном, Зоя у калитки, — и не могла привязать к ним ни одного ночного поезда. Звук был так привычен, что не оставлял зарубок. Его нельзя было отсчитать назад, потому что никто никогда не считал его вперёд. Выходило, что последний поезд был тот вечерний, неслышанный. С тех пор станция молчала. А сколько молчала — полночи? Дольше?

Аня откинула одеяло и села. Нашупала на стуле телефон, тронула — экран полыхнул в темноте, резнул по глазам: половина четвёртого. В углу исправно горели палочки сети — связь была, а толку с неё чуть: интернет тут и в лучшие дни еле полз, а теперь и вовсе не грузил. Аня давно махнула рукой — притерпелась, как к застарелой трещине на чашке. Тридцать восемь лет — и сидит впотьмах посреди чужого нетопленного дома, слушает, не идёт ли товарняк. Аня усмехнулась бы, не будь так зябко и так тихо. С вечера, как прошёл тот поезд, — часов восемь, а то и девять. За девять часов мимо станции должно было пройти не один и не два.

Аня встала — холодные доски отозвались даже через плотные носки. Встала она не затем, чтоб что-то сделать: просто лежать и слушать стало невыносимо, а на ногах всегда было легче, на ногах находилось дело. Подошла к окну, отвела занавеску. Стекло дохнуло в лицо холодом, от дыхания пошло мутным пятном. Аня стёрла его ладонью, мёрзла в одной кофте, но не отходила. За окном двор тонул в темноте. Фонарей на их краю не водилось, и нигде ни огонька — у Степаныча за забором черно, у Зои на углу черно. Только небо было чуть светлее крыш: низкое, глухое, без единой звезды, затянутое наглухо. Ничего не двигалось. И ничего не звучало.

На подоконнике лежали две керосинки Степаныча, так и завёрнутые в газету с вечера. От газеты тянуло керосином. В сенях горела лампочка — Аня не гасила её на ночь, — свет был, керосинки ни к чему. Она и не вспомнила бы о них, не наткнись взглядом. Опустила занавеску.

Молчит станция, не молчит — не её печаль. Утром соберётся и уедет, а тут пускай чинят что хотят. Решила — и стало чуть легче.

Она вернулась в постель, легла, натянула одеяло до подбородка, закрыла глаза. Сон приходил и отступал, рваный, без дна, и каждый раз, выныривая, Аня первым делом слушала — не пошёл ли. Не шёл. И под привычным, гладким «опаздывает, починят» лежало теперь другое, тонкое и холодное, чему она не давала имени. Не «странно». Что-то не так. А что — Аня не знала, и взяться было не за что.

* * *

Остаток ночи Аня кое-как промаялась. Засыпала на четверть часа, на полчаса, и в каждом обрывке сна станция снова гремела, всё было налажено, как надо, — а просыпалась она в ту же глухую тишину, в тот же выстуженный дом. К серому свету и на это не осталось сил. К шести Аня села, спустила ноги на ледяной пол.

За окном серело — не рассвет ещё, а только его обещание, грязноватая муть, в которой комната проступала по частям: сервант, холодная печь, коробки вдоль стены. Голова была чугунная, под веками жгло, как от песка. Хотелось рухнуть обратно — но лежать значило слушать, ждать чего-то, а ждать она больше не могла. Аня поднялась.

Поставила чайник и, пока он сипел на плитке, обулась, натянула куртку поверх кофты и взялась за коробки. Те, что у двери, были собраны ещё с вечера — посуда, перетянутая полотенцами, материны книги, папки с квитанциями за тридцать лет, которые Аня всё не решалась выкинуть и сложила «разобрать потом, в городе». Потом так и не настанет, она и сама знала. Подхватила первую — тяжёлую, углы резали ладони — и потащила во двор.

Багажник чуть примёрз, но всё-таки открылся. Коробка встала на дно глухо. Аня вернулась за второй, за третьей. Спина, за ночь не разогнувшаяся, держала своё, но слушать её Аня не давала — на ходу всегда было легче, чем стоя. Машина оседала под грузом, пар валил изо рта. Материна жизнь грузилась в багажник коробка за коробкой, чтобы доехать до города и лечь там на антресоли — или на свалку. Аня старалась об этом не думать: думать значило встать столбом посреди двора, а ей надо было ехать.

И только вынеся четвёртую, она по-настоящему разглядела двор.

За ночь всё подёрнулось инеем — седина на жухлой траве, на поленнице, на капоте, на синих перильцах у колонки. Воздух стоял сухой и колкий, чужой после грозовой сырости, и пар изо рта таял не сразу. Холод был уже не вчерашний, промозглый, а другой — зимний, с зубами. Зима, про которую толковал Степаныч, всё-таки наступала. Ещё неделю назад Аня бы только поёжилась: уезжаю — и хорошо, что не зимовать в этом холодильнике. Зима тут была не шутка, она помнила — сугробы по пояс, колонку, обмерзавшую за ночь, дорогу, которую переметало так, что из посёлка неделями было не выбраться. Но ей-то что за дело. Сегодня уедет, а там пусть заметает как хочет.

Аня поставила коробку, подышала в кулак — и поймала себя на том, что стоит и слушает.

Двор жил обычным своим утром. Почти. Где-то за огородами драл горло петух. Над крышей у Зои курился дым, тонкий, белёсый, — протопила чуть свет, как всегда. Тявкнула собака, ей лениво отозвалась другая. Всё было на месте.

И в этом «почти» сидела заноза, которую Аня не сразу нащупала. Стояла, слушала — двор, петуха, собак — и не могла понять, чего не хватает, как не можешь вспомнить слово, вертящееся на языке. А потом дошло.

Станции.

К этому часу она давно гремела бы всюю: лязг сцепок, перестук на стрелках, погромыживание состава — тот мерный фон, под который посёлок просыпался и шёл на смену. Аня знала его, не замечая, не десять дней — всю жизнь, что прожила тут до восемнадцати. А теперь его не было. Двор полнился мелкими утренними звуками, и каждый слышался сам по себе, голый, отдельный, — потому что под ними больше не гудела станция.

И ведь ночью её тоже не было. Аня лежала тогда в темноте, считала назад, не могла поймать последний поезд — и списала всё на грозу да на недосып. А станция как замолчала с вечера, с того состава по дороге от Зои, так и не подала голоса. Ни ночью. Ни теперь, при свете.

Большой ремонт, сказала себе Аня. После такой грозы подмыло где-нибудь пути, встало движение, бригады с рассвета в работе. Бывает.

Сказала — и не поверила. Большой ремонт слышно за версту: тепловоз, краны, мужики, лязг железа. А тут со вчерашнего вечера хоть бы звякнуло. Станция не чинилась. Станция просто молчала.

Со двора напротив стукнул колун.

Степаныч был уже на ногах — в распахнутой телогрейке, как ни в чём не бывало колот дрова. За коробками Аня его и не заметила, а он её, видно, приметил давно: разогнулся, поглядел на осевшую под грузом машину, на распахнутый багажник.

— Здрово. Что, совсем уезжаешь?

— Доберу дом — и в город. — Аня поставила коробку, разогнула спину. — Сегодня, если выйдем.

— Угу. — Он воткнул колун в колоду, оперся на топориче. Помолчал, поглядел мимо неё, за крыши, в сторону станции. — Чудно́. Поездов с утра не слышать. И ночью, кажись, не ходили.

Аня не ответила.

Всё утро она вполуха спорила сама с собой: недоспала, накрутила, мало ли что мерещится спросонок в чужом доме. А старик, проживший у этих путей весь свой век, слышавший их и сквозь сон, сказал то же самое — даже не в тревоге, а так, между двумя поленьями, как замечают, что переменялся ветер. Он и не вслушивался — просто знал, как знала и она, что чего-то нет. Значит, не мерещится.

— Ну да разберутся, не впервой. — Степаныч по-своему истолковал её молчание и снова взялся за колун. — Ты езжай, коли собралась. — Хрясь. Полено развалилось надвое.

Аня кивнула, сунула руки в карманы и пошла в дом — будто бы за следующей коробкой, а на деле чтоб не стоять под его взглядом, не показывать лица.

В доме было сумрачно и так же тихо. Стопки книг на полу, неупакованный материн сервиз, мешки с тряпьем на выброс. Доделать всё это — день, два. Аня стояла посреди недоразобранной чужой жизни и знала, что ни дня, ни двух она тут не пробудет. Ни лишнего часа.

Доделает в другой раз, с грузчиками, потом, — а сегодня погрузит что влезет и уедет.

Десять дней она мёрзла в чужом нетопленном доме, вторую ночь не спала, обходила запертую спальню — и с неё хватило. Бежать от какой-то комнаты было даже стыдно, по-детски, и Аня это сознавала. Сознавала — и всё равно собирала сумку. Домой. В свою квартиру, к Киру, где поезда ходят по часам, и интернет нормально работает.

Документы. Материна шкатулка с бумагами на дом. Свой ноутбук, паспорт, зарядки. Банки из погреба — нет, к чёрту банки, не до них. Она выдёргивала только то, без чего нельзя, и бросала всё остальное: сервиз, мебель, коробки, не вошедшие в багажник. Потом. Всё потом.

Оставалась спальня.

Аня вышла в коридор с сумкой через плечо и у притворённой двери притормозила. За эту дверь она за десять дней так и не зашла — всё откладывала, ходила мимо, делала вид, что не замечает, и ради неё, если честно, больше всего и тянула с отъездом. В первый день сунулась было на порог — да попятилась, не переступила. Там, за ней, всё стояло, как мать оставила: кровать, платья в шкафу, склянки и очки на тумбочке. Десять дней комната ждала за притворённой створкой, и десять дней Аня знала, что рано или поздно придётся. Вот и пришлось. Откладывать было некуда: войти, собрать — и кончено.

И, стоя с холодной ручкой под ладонью, Аня вдруг подумала: а ведь это всё хлам. Старый, никому не нужный хлам. Платья, которые никто не наденет, склянки от болезни, которой больше нет, очки, в которые некому смотреть. Десять дней она это перебирала, надписывала коробки, берегла, будто оно чего-то стоило. А оно ничего не стоит. Пока была мама, всё это было её — её платья, её очки, её утренняя возня, её жизнь. Не стало матери — и остался хлам, который Аня зачем-то таскает за собой по коробкам.

Не увезёшь. Аня отпустила ручку. Новые хозяева въедут — сами разберут, что сгодится, остальное на свалку. Туда и дорога. Она повернулась и пошла к выходу, не оглянувшись.

Дом заперла, как привыкла за десять дней: повернула ключ, дёрнула дверь на себя. Мало ли, говорила Зоя. Мало ли. Сегодня это «мало ли» отдалось в ней иначе.

Степаныча во дворе уже не было — она и не заметила, когда он ушёл. Двор напротив опустел: колун торчал в колоде, куча поленьев так и осталась недоколотой. Аня села за руль, повернула ключ. Мотор схватился не сразу — застыл за ночь, чихнул, — но взялся, затарахтел, и не было сейчас звука желаннее этого тарактения.

Она сдала назад, развернулась. В зеркале качнулся и уплыл двор: поленица, тёмные окна выстуженного дома, погреб с материнскими банками где-то под ним. Смотреть дольше Аня не

стала. И чем дальше оставался за спиной дом, тем явственнее с неё что-то спадало — простая, давно забытая лёгкость, какой не было все десять дней, да и куда дольше.

Мать полгода как в земле, дом — на продажу, остальное разберут без неё. Долг отдан, и можно наконец ехать.

Глава 5. «Не вернулись»

Конец октября. Первый день без связи.

За окном тянулось Боровое — ещё сонное, серое, в инее, — и Аня вела машину сквозь него легко, одной рукой, как ведут по знакомой улице, когда некуда спешить и впереди весь день и вся дорога. Рассвело недавно. Печки коптели над крышами прямо, без ветра, и в этой прямоте, в морозной утренней тишине было что-то почти праздничное — то ли от инея, то ли от того, что всё наконец кончилось и она едет домой.

Десять дней она ждала этой минуты и до последнего не верила, что минута придёт. Дом остался за спиной, разобранный, запертый, уже чужой, и коробки в багажнике мягко толкались на колее. Ключи она оставила Зое, перекинулась с ней через забор парой слов — и всё. Четыре часа по шоссе — и город, своя квартира, Кир по выходным, обычная жизнь, в которой нет ни погреба с мамиными банками, ни выстуженных комнат.

Думать дальше она не стала: на остановке у поворота к станции стояли люди. Не двое-трое, как ждут по утрам автобус до райцентра, — десяток, а то и больше, плотной кучкой, и стояли, не глядя на дорогу, не на часы, а друг на друга, тесно, переговариваясь. Старуха в пуховом платке держала соседку за рукав. Мужик в спецовке, спиной к Ане, разводил руками. Пар от дыхания висел над ними общим облачком.

Аня сбросила было ногу — спросить, нестряслось ли чего, не перекрыли ли дорогу, — и тут же убрала. Не её забота. Что бы там у них ни случилось с автобусом, у неё своя машина и полный бак, и через минуту посёлок останется в зеркале навсегда. Она прибавила скорости и прошла мимо. В зеркале кучка качнулась, кто-то обернулся на звук мотора — единственный звук на всю улицу, — но она уже глядела вперёд.

Переезд она пролетела не притормозив. Шлагбаум торчал поднятый, будка дежурного — тёмная, дверь распахнута, внутри никого, хотя там всегда кто-нибудь да сидел. Поездов и не слышно было — со вчерашнего вечера. Ну и хрен с ними.

За переездом дома пошли реже, разбежались огородами, картофельными полями в седой стерне — и оборвались разом, как обрывается всякий посёлок на краю леса. Тракт уходил в стену елей, серую и глухую. Аня выдохнула — длинно, до самого дна, будто выдыхала разом все эти десять дней, — и прибавила газу. Дорога ушла в лес.

Теперь по обе стороны тянулись одни тёмные ёлки в седых космах лишайника, и между ними мелькали прогалы, заваленные палым листом и бурой папоротниковой ветошью. Посёлок пропал за первым же поворотом — весь, разом, с инеем, толпой и пустой будкой. Аня сбавила. Не от тревоги — спешить вдруг расхотелось. Печка грела ноги, мотор без натуги тянул вперёд, стволы плыли за стеклом один за другим, и в кои-то веки ей было просто, бездумно хорошо.

Летом лес тут был никакой — сырой, комариный, она его и не замечала, проезжая. А зимой эта самая дорога делалась другой.

Вспомнилось само, от вида тяжёлых еловых лап за стеклом: как ехали здесь под Новый год, давно, совсем маленькой. Она сидела сзади, в колючем пальтишке, прижавшись лбом к холодному стеклу, и считала ёлки, пока не сбивалась со счёта. Снег лежал на ветвях такими пластами, что гнул их книзу, к самой земле, и лес делался белый и ненастоящий — не лес, а сахарная декорация. Где-то с верхушки срывалась шапка снега и ухала вниз бесшумным взрывом, и освободившаяся ветка долго потом качалась вслед. Отец вёл медленно, фары выхватывали из темноты крутящуюся серебряную пыль, мать дремала у окна, и в машине пахло бензином, мандаринами из сумки и нагретой на печке шерстью варежек. Колёса мягко шуршали по укатанному снегу, дворники изредка сметали с лобового налипший снег, и под этот мерный шорох, в тепле, было так покойно, как покойно бывает только в детстве — на заднем сиденье,

когда правит отец и можно ни о чём не думать, потому что взрослые знают дорогу. Тогда казалось, что едут в сказку и что сказка эта никогда не кончится.

Сказка кончилась, конечно. Дом, к которому они тогда ехали, она после возненавидела, сбежала из него при первой же возможности и потом годами возвращалась сюда как на повинность, считая дни до отъезда. И всё-таки лес ей соврать не давал. Лес был красивый. Что-то тёплое и совсем ненужное шевельнулось в ней — не то жалость, не то благодарность, непонятно к чему и за что. Не к посёлку же. К ёлкам, что ли?

Она усмехнулась про себя и не стала додумывать. Хорошо — и хорошо, чего там. Доедет до города — отоспится разом за все эти десять дней и за все двадцать лет.

Так она и ехала — на длинном пустом перегоне отдавшись дороге и теплу салона, думая о городе, — пока впереди, у обочины, из серой мглы не проступила машина.

Серая «десятка», носом к кювету, под углом, будто съезжала кому-то уступить да так и не выровнялась. Аня привычно сбросила, объезжая. Сломался кто-то, дело обычное: дотянули до леса, заглохли, бросили, пошли пешком или поймали попутку. Она и не взгляделась, скользнула взглядом и мимо. Только дверца со стороны водителя стояла настежь, и в салоне темнело брошенное тряпье.

Вторая стояла через полминуты езды, тоже носом в кусты, тоже с распахнутой дверью. Аня объехала, на ходу подбирая объяснение — привычно, как все эти дни: бросили машину, ушли... а куда? В лес? Зачем человеку среди дороги лезть в чащу — за грибами, что ли? Да какие грибы в конце октября, по морозу. Не сходилось, и Аня бросила гадать. Только крепче сжала руль.

А третья развернулась поперёк всей полосы, носом к самому лесу, и Аня сбавила, протискиваясь по кромке обочины, чувствуя, как мягко вязнут колёса в подмёрзшей грязи. За третьей — четвёртая, пятая, дальше ещё, по обочинам, в кюветах, поперёк, — и у всех настежь двери. У всех. Это уже было не объяснить — ни грибами, ничем. Так не бросают сломавшуюся машину. Так бросают, когда выскакивают и бегут — не до ключей, не до дверей, не оглядываясь. Нога сама отпустила газ, и снизу, от живота, поднялся холод.

Авария, сказала себе Аня. Большая, цепью: гроза, гололёд, кто-то впереди встал, сзади влетели, и пошло. А где авария — там раненые, там нужна помощь. Эта мысль, привычная, рабочая, на секунду вернула ей твёрдость: есть беда — есть и порядок действий. Аня остановилась, выхватила телефон, набрала сто двенадцать.

Длинные гудки уходили в пустоту, один за другим. Она ждала, прижав трубку плечом, не сводя глаз с машин впереди: вот сейчас ответят, спросят, где, она скажет — трасса на город, лес за Боровым, авария, много машин, нужны спасатели. Гудок уходил за гудком. Сто двенадцать берут всегда, с первого, это служба, которая не спит никогда, — а тут никто не брал. Аня отняла телефон, глянула: три палочки сети, исправные. Вызов шёл. Просто на том конце никого не было.

Она сбросила, ткнула в браузер — забить «полиция Боровое», номер дежурной части, позвонить напрямую, людям, что тут, рядом, в посёлке. Колёсико покрутилось и стало. Страница не грузилась. И только тут Аня вспомнила, глупо, с опозданием: интернета нет. Не было все десять дней, не было и сейчас. Связь есть, а толку с неё — одно мёртвое колёсико на белом экране.

Аня сидела, держа в руке бесполезный телефон, и смотрела на машины. Полная сеть — и не докричатся ни до кого. Раз не дозвониться — надо глянуть самой. Вдруг там, в какой-нибудь, кто-то ещё остался: раненый, в шоке, не сумевший уйти. Так положено. По-человечески. Аня сунула телефон в карман и вышла.

Холод толкнулся в лицо, сухой и колкий, и она притворила дверь тихо, придерживая, чтоб не хлопнуть, — сама не зная, перед кем осторожничает. Под подошвой хрустнул наледью асфальт, и в мёртвой тишине хруст вышел оглушительным. Аня замерла. За спиной ещё

потрескивал, остывая, её мотор — единственный звук на всю дорогу. Лес стоял по обе стороны вплотную, чёрной стеной, и был так тих, так пуст — ни птицы, ни ветра в вершинах, — что не хотелось дышать. Она была тут одна. Открытая, тёплая, живая — посреди дороги, между чужих брошенных машин.

— Эй! — позвала она, и голос пропал в тишине, не отдавшись ничем. — Есть кто живой? Помощь нужна?

Никто не ответил. Аня пошла вдоль машин, заглядывая в каждую. Салоны стояли пустые, настезь. На торпедке одной лежал телефон, экраном вниз. В другой — термос в подстаканнике, на заднем сиденье свёрнутое одеяло. Дорожная мелочь, ничего особенного. Никто не паковался, не спасался, не бежал заранее — ехали люди в город по своим делам, пока с ними не случилось вот это.

А в третьей, на заднем сиденье, стояло детское кресло. Пустое. Ремень застёгнут — поверх пустоты, как застёгивают поверх ребёнка перед дорогой. Ребёнка не было. И где-то на самом краю мелькнул Кир — маленький, давным-давно вот так же пристёгнутый на заднем сиденье. Аня отвернулась.

Ни в одной — ни человека, ни крови, ни следа драки. Просто открытые двери да брошенные вещи, будто людей разом выдернули из машин, и не стало.

И на всём лежал иней. Аня тронула ладонью ближнее стекло: седое, в наледи — не утренней, свежей, как час назад на её капоте, а застарелой, копившейся не одну ночь. Палый лист намёрз на дворники. Эти машины стояли тут не ночь и не две — несколько дней. И значит, уже несколько дней единственная дорога из посёлка была вот такой, мёртвой, а никто не приехал, не убрал, не хватился. Некому было хватиться. Все, о ком в последние дни говорили вполголоса, — уехал да не звонит, задержался да пропал, — выезжали отсюда вот этой дорогой. Дорога тут одна. И вот они все — здесь.

Аня стояла у серой «десятки», у первой, и тут увидела то, чего из машины не разглядела. По дверце, по крылу, по крыше шли борозды. Глубокие, до самого металла, и краска завернулась по краям задиров. Стекло водительской двери выбито внутрь, осыпь на сиденье, и на осыпи серел иней. Аня смотрела, и привычная, услужливая мысль — что всему есть причина, что вот сейчас она её найдёт, назовёт, и станет легче, — эта мысль не шла. Зверь так не дерёт. Человек так не может. А борозды были — четыре в ряд, в железе.

Дальше по дороге, шагах в тридцати, на боку поперёк всей полосы, от кювета до кювета, лежала фура — распоротым тентом к лесу, и груз вывалился, рассыпался — раскисшие, втоптаные коробки. У Ани ёкнуло: фура, на боку, — там водитель, в кабине, может, придавлен, может, жив ещё. И она кинулась к ней бегом, оскальзываясь, мимо мёртвых машин, — добежала, ухватилась за обледенелое железо, подтянулась, заглянула в кабину сквозь разбитое звездой стекло. Пусто. Дверца сорвана с петель. По крыше, по борту шли те же следы — глубже, по железу борта. А по обе стороны фуры чернело болото, прихваченное у берега ледком. Ни объехать, ни обойти. Тупик.

И тогда, стоя у мёртвой фуры, в немом лесу, где не было ни звука, Аня поняла. Не подумала — поняла, сразу и целиком, как понимают, что обожглись, ещё прежде боли. Отсюда не выехал никто. Ни один. Дорога одна, и вся она, до самой трассы, наверное, вот такая — машины, машины, распахнутые двери, борозды в железе и ни одного человека. Те, кто уезжал, кому она ещё вчера завидовала — выбрался, повезло, — доехали вот до сих пор. А она катила следом. Только что, на той же лёгкости, чуть не напевая про себя, она ехала туда же, куда уехали они все.

Тому холоду, которому она всю ночь не находила имени, нашлось наконец имя. Кругом был не фильм и не страшная сказка: мёрзлый асфальт, пустое детское кресло, борозды в железе, опрокинутая фура — и тишина, огромная, сомкнувшаяся вокруг наглухо. Дальше не прошёл никто. И она не пройдёт.

Сколько Аня так простояла, она не помнила. А потом — разом, будто очнулась, — до неё дошло, где она стоит. Одна. Посреди дороги, посреди леса, в котором только что, у неё на глазах, что-то разорвало железо и вышибло стёкла. И всё это время — пока она звонила, тыкала в браузер, окликала, лезла на фуру, заглядывала в кабину, разбиралась, — всё это время она стояла тут, на открытом, спиной к чёрной чаше, беспечная, как те, кто бросил здесь свои машины и пошёл за помощью. Лес начинался в трёх шагах — чёрный, глухой, неподвижный, — и из его глубины на неё не смотрел никто. И оттого, что никто, оттого что в этой черноте могло быть что угодно и не разглядеть было ничего, по спине до самой шеи продрало холодом. Бежать. Немедленно. К машине.

Аня попятилась — медленно, не отводя глаз от деревьев. Потом не выдержала: повернулась и кинулась к машине. Десять шагов по мёрзлому асфальту, мимо чёрных пустых салонов — и эти десять шагов вышли длиннее всей той дороги, что она собиралась проехать. Спиной, лопатками, затылком она ждала, что вот сейчас сзади, от фуры, от леса, что-то...

Ничего. Она добежала, рванула дверь, ввалилась внутрь, захлопнула за собой.

Ткнула кнопку — замки щёлкнули по всем дверям разом, и от этого жалкого щелчка стало на каплю легче, хотя Аня и понимала, что толку с тех замков против такого — чуть. Руки ходили ходуном. Она сунула ключ мимо скважины, попала со второго раза, провернула — мотор схватился, взвыл на холодную, — и она вцепилась в руль обеими руками так сильно, что пальцы побелели.

Теперь развернуться. Дорога в две полосы, по краям болото, спереди поперёк фура, сзади — мёртвые машины. Места не было, и Аня разворачивалась рывками: вперёд до самых машин, назад до кромки кювета, где заднее колесо тут же поползло, прокрутилось в ледяной жиже, поймало, выгребло. Вперёд, выкручивая руль до упора. Назад. Каждый раз, как колесо срывалось в раскисшую обочину, внутри обрывалось: завязну — останусь тут, как они. На третьем рывке машина встала поперёк, ткнулась бампером в подлесок — и развернулась, встала носом туда, откуда приехала. К посёлку.

Аня вдавила газ в пол.

Лес полетел назад — те же ёлки, те же прогалы в инее, — только час назад она неслась сквозь них к свободе, а теперь удирала что есть мочи обратно, в плен. Стрелка лезла вверх, мёртвые машины мелькали мимо одна за другой, теперь по правую руку, в обратном порядке, — и каждая отзывалась в ней коротким холодным толчком: были люди, ехали домой, радовались. Доехали досюда.

Час назад впереди был город. Квартира, Кир, работа, вся её прежняя жизнь, к которой она рвалась десять дней, — и ничто её не держало. Теперь впереди был посёлок. Тот самый, из которого она сбежала в восемнадцать и который двадцать лет терпеть не могла, — и он сделался единственным местом на земле, где были люди, где была жизнь. А туда, наружу, к Киру, к нормальной жизни, — ходу не было. Дорога туда кончалась перевёрнутой фурой и тем, что распоролو железо.

Кир.

Сын, там, за лесом, в городе, до которого четыре часа — четыре часа, которых больше нет. Вчера она звонила ему весь вечер, гудки, гудки, и злилась, дура, на телефон, на игру его, на наушники в ушах. Те же гудки, что минуту назад в сто двенадцать. В пустоту.

А если это были не наушники?

Рука сама дёрнулась к карману — позвонить, сейчас, услышать «ма», полусонное, живое, — и застыла на полпути. Она же только что слушала эти гудки. Наберёт его — будет то же. Не дозвониться. И не доехать. С какой стороны теперь дотянуться до Кира, она не знала. Ни голосом, ни руками. Никак.

Впереди, за поредевшим лесом, проступили первые крыши — серые, дымные, живые. Аня неслась к ним так же отчаянно, как все эти дни рвалась прочь. Выхода из посёлка не было.

Был только сам посёлок — горстка тёплых живых домов, обложенных со всех сторон лесом, из которого не возвращаются. И Аня гнала к нему, к единственному, что осталось, — туда, откуда бежала всю жизнь.

Глава 6. «На честном слове»

Конец октября. Второй день без связи.

Администрацию Сергей Петрович отпирал сам, раньше сторожа, раньше всех. Замок на морозе прихватило — ключ вошёл, а проворачиваться не желал, и пришлось подышать в скважину, погреть, надавить через носовой платок, чтоб не рвать кожу о железо. Поддалось. Дверь, разбухшую и примёрзшую за ночь, повело в коробке. Навалился плечом — отошла с треском, и сверху, с притолоки, сорвалась и сыпанула за воротник ледяная крошка. Чертыхнулся, передёрнулся, выгреб горсть из-за ворота, а одна капля всё же нашла хребет, поползла вниз, и он повёл лопатками, пережидая, пока та дойдёт до пояса и угомонится.

В вестибюле стояла стужа — не уличная, живая, с ветром, а мёртвая, нежилая, какая копится за ночь в нетопленном доме и оседает на полу, на казённых стульях вдоль стены. Из рта валил пар. Свет включать не стал: серого, что цедился в окна, хватало, а лампы под потолком и так третий день горели вполсилы. Тронул батарею у входа ладонью, привычно, как трогают лоб больному, — холодная, до последнего ребра.

Снизу, из-под лестницы, из чёрного зева подвала, тянуло сыростью, и доносились звуки работы, не предвещавшей ничего доброго: звяк, пауза, скрежет, опять звяк, матюги.

— Василич! — крикнул он в проём. Голос ушёл вниз, в сырость, и вернулся плоским, без отзвука. — Живой там?! — повторил, уже громче.

Стук вперемешку с матюгами затих. Затем что-то зашуршало.

— Покуда живой, — отозвалось из-под земли, глухо, придушенно, словно из-под одеяла. — Спускайся, коли пришёл. Подержишь переноску — с гвоздя валится, паскуда, а мне обе руки нужны.

Ну что делать, полез вниз по выщербленным бетонным ступеням, пригибаясь, держась за обмёрзшую трубу под потолком. С каждой ступенькой делалось холоднее и сырее, и снизу несло подвалом всё гуще: мокрая известь, ржавчина, плесень, застойная вода — стоячая погребная сырость, какую ничем не выгонишь. На нижней ступени нога ушла по щиколотку — вода. Холод обжал ступню сквозь ботинок мгновенно, до кости.

— Да ёб твою налево... — глубокомысленно изрёк Сергей Петрович, смирившись с тем, что и вторую ногу придётся опустить в воду.

Подвал был низкий, в полный рост не встать. По сводам, в паутине труб, ходили тени, и в дальнем углу, под самой толстой плетью, лежал Василич — на спине, в воде, подстелив драный ватник, наполовину задвинувшись под трубу, так что наружу торчали подшитые валенки да рука с разводным ключом. Переноска висела рядом на гвозде, вбитом в шов кладки, лампочка в железной сетке, — она и гоняла тени по мокрым стенам. В углу захлёбывался, толчками бил дренажный насос, гнал воду шлангом через приямок в темноту, — а её на полу меньше не делалось.

— Василич, едрить-колотить! Совсем сдурел — в ледяной воде валяться? — Согнувшись под сводом в три погибели, Сергей Петрович навис над ним. — Воспаления лёгких тебе для полного счастья не хватает?

— А что прикажешь, Петрович? — Василич и не обернулся, голос шёл из-под трубы, гулкий, злой. — Не видишь, что ли, что труба опять потекла? Залатать надо, покуда тут всё к чёртовой матери не затопило.

— Насос-то хоть включил?

— А то. Гудит вон, слышишь? Кабы не он, тут бы давно по пояс плескалось, а так на щиколотке держит. Покуда держит.

— Чего у тебя?

— А вон, гляди. Свети сюда, под колено. Да не туда, голова твоя садовая, — ниже.

Сергей Петрович снял переноску с гвоздя, присел на корточки в воду — зад тут же промок насквозь, мелькнуло некстати, теперь весь день перед народом с мокрым задом, как чёрт знает кто, — поднёс лампу. В жёлтом круге проступило старое чугунное колено, и на нём наспех затянутый хомут: кусок резины под жестяной лентой. Из-под ленты не капало — текло: тонкая струйка била без передышки, журчала, уходя в чёрную воду на полу. Он прикинул глазом, сколько её набегает за час, и сразу перевёл на сутки, на неделю — в ведра, в часы работы насоса, как переводил всё, что попадало на глаза.

— Всю ночь?

— С третьего часу. — Василич поддёргнул ключом, и струйка на миг сжалась, опала — да ударила снова, та же. — Прорвало на обратке, у задвижки. Хорошо, я тут ночевал, печурку в дежурке палил — не спалось. Услыхал, как зашумело. Кабы проспал — к утру по пояс бы стояло, и архив поплыл бы, и щиток залило. — Помолчал, отдуваясь. — Заглушил, хомут наживил. Да он на честном слове. Трубе этой, Петрович, сорок лет, она вся как решето: тут затянешь — там засопливит. Тронуть боюсь.

— Менять надо.

— Менять. — Сказано это было так, что ясно: говорено меж ними не впервой и не в десятый раз. Василич выпростался из-под трубы, сел в воде, отёр лицо рукавом — только развёз грязь по лбу. Поглядел снизу вверх, без злобы, одной стариковской усталостью. — Я в район три заявки отписал, с весны. Три. Хоть бы душа ответила: есть трубы, нет труб, ждать, не ждать. Как горохом об стенку.

Сергей Петрович опустил рядом на перевёрнутое ведро, переноску пристроил на сухой выступ кладки. Колени ныли, по спине гулял холод, мокрые штанины липли к ногам. Встать бы да уйти. Нельзя: старик ночь не спал, в воде, один — надо ему выговориться живому человеку, а не стенке.

— Отвечу сам. Будут трубы.

— Из чего? — Василич усмехнулся в мокрую бороду, кивнул на хомут. — Вон из чего. Из «крутись как знаешь». Я и кручусь — тридцать лет на этой котельной, всё на хомутах да на матерке держится. — Выловил из лужи кружку, плававшую боком, заглянул — пусто, поставил на колено. — Ты мне, Петрович, лучше прямо скажи, по-людски: чем я котёл топить буду? Уголь на той неделе не пришёл. И на позапрошлой. Да и до того с переборами шёл, почитай месяца полтора. На складе с гулькин нос осталось, на неделю, дай бог. А там морозы. Чем людей греть прикажешь?

Сергей Петрович ответил не сразу. В углу бил насос, струйка журчала в чёрную воду. Где-то наверху, в пустом здании, скрипнуло, осело. Уголь шёл по железной дороге, на станцию, в его склад. А станция вторые сутки молчала. Он это знал — и Василич знал, видать, тоже, иначе не спрашивал бы так, в лоб.

— Придёт уголь, — сказал наконец. — Дорогу за Горелкином расчистят, и пойдёт всё разом: уголь, трубы, хлеб. Неделя, другая.

Переноска в руке мигнула. Раз, другой — и осела, потускнела до рыжего волоска в стекле, и подвал сразу придвинулся, навалился темнотой с боков. Насос в углу захлебнулся, сбавил — и журчание в темноте стало слышней. Василич, не глядя, выматерился — как кашлянул.

— И свет, зараза, четвёртый день пляшет: то есть, то нет. А я под ним, в воде, с ключом. Хорошая смерть, грамотная. Спишешь на естественную убыль населения.

Накал вернулся нехотя, тени отползли по стенам обратно.

— Свет наладят.

— Всё-то у тебя наладят. — Василич не верил, ясно, и не ждал веры от него — так, переговаривались двое в холодном подвале, чтоб не молчать над текущей трубой.

— Тепло когда дашь?

— К обеду. — Василич снова полез под трубу. — Спущу воду со стояка, переберу хомут по-человечески, дам тепло. А ты народ придержи до обеда, не гони в нетопленное. Сгонишь к девяти в очередь, в стылый дом, — взвоят, и правы будут. Им и без того несладко.

Сергей Петрович повесил переноску на гвоздь, поднялся — колени хрустнули, мокрые штанины обожгли ледяным. Полез наверх, в серый свет, и наверху постоял, переводя дух.

Придержи. Будто их придержишь.

В кабинете первым делом достал телефон, набрал станцию — узнать, где уголь, отчего вторые сутки ни состава. Гудка не пошло: короткий сбой да тишина, будто номера и нет. Набрал районную больницу — там-то должен кто-то быть у аппарата. Долгие гудки, впустую, и никто не снял. Две палочки сети горят, а дозвониться некуда. Сунул телефон в карман.

Тогда снял трубку проводного, набрал район — по привычке больше, чем с надеждой. Щёлкнуло, пошли гудки: длинные, в пустоту, один за другим. Считал их, прижав трубку плечом, дыша на заочневшие пальцы. На восьмом положил. Горохом об стенку, верно сказал Василич. Снял опять, набрал станцию — там и гудка не было, один глухой шорох.

Сговорились они все, что ли, до инфаркта меня довести к зиме?..

Во дворе, за окном, уже собирались. Тётка с бидоном переминалась у крыльца, мужик в трухе курил в кулак, ещё двое жались к стене, и пар стоял над ними облачком. Без четверти девять. Скоро дверь внизу начнёт ходить, и они пойдут — один за другим, со светом, с хлебом, с дровами, с бедой, и каждому будет нужно от него то, чего у него нет и не будет, и не сыщется над ним никого, кому это спихнуть. До девяти на нём котёл, уголь да заваленная дорога. С девяти — весь посёлок.

Сергей Петрович провёл ладонями по лицу, согнав с него всё, чему на лице быть не полагалось, и пошёл отпираться.

* * *

К полудню в приёмной было не продохнуть. Мокрые валенки, табак, пар от отсыревших шуб — и поверх всего застоявшийся холод казённого дома, который Василич так и не протопил. Очередь стояла к столу плотно, дышала в затылок, и каждый, дойдя, выкладывал своё.

Михайловна пробилась первой, не слушая ропота за спиной.

— Петрович, ты мне без этих своих. Хлеб будет?

— Будет. Завоз за Горелкином застрял, дерево на трассу легло. Расчистят — привезут.

— Третий день у тебя «расчистят». — Палка пристукнула об пол. — В «Пятёрочке» шаром покати, лежит одна твоя резина диетическая. При советах за такое с должности гнали, в три шеи.

— Гнали, знаю. — Сергей Петрович пододвинул ей табурет, не дожидаясь, пока сядет сама. — Садись, не части. Будет хлеб. Потерпи.

Михайловна села, но палку не выпустила — держала перед собой обеими руками.

— Я-то потерплю, мне не впервой. Ты вон Кольке через дом скажи, он на хлебе одном и тянет.

За ней уже совался мужик с автобазы — Иван Андреич, а вот фамилия из головы выпала.

— Сергей Петрович, со светом-то решится? Третью ночь скачет, вечер и вовсе на час сел. У меня в погребе всё на зиму — мясо, банки. Холодильник оттаял, потекло. Кто вернёт?

— Подстанцию налаживают.

— Кто налаживает? Когда?

Ответа у него не было: на подстанцию он звонил и вчера, и третьего дня — а к телефону там так и не подошли, как и в районе.

Надо и туда ехать. Разбираться. Везде надо самому лезть, самому всех распинывать. Лоботрясы чёртовы. Но это потом. Сейчас — люди.

— Соли, что можешь, Иван Андреич. Холодильника не жди — зима сама доморозит. — И, не дав тому раскрыть рта снова: — Следующий.

Следом подошла Нюра Скворцова — платок до бровей, руки прячет под фартук, мнёт там что-то невидимое.

— Сергей Петрович, мой-то Васька в районной лежит, в хирургии, резать должны были в понедельник. Я в больницу звоню — звонит, звонит там, и хоть бы кто снял. На автобус собралась — нет автобуса. Хоть весточку бы, живой ли. — Голос не дрожал — тихий, пустой, замёрзший, и от этой пустоты делалось не по себе. — Ты ж власть. Узнай по своим каналам, а?

«По каналам». Каналы все вели в один тот же район, что третьи сутки как вымер. Сергей Петрович поглядел на её руки под фартуком — и слово, которое он сегодня раздавал всем подряд, далось ему отчего-то труднее, чем Михайловне про хлеб, чем мужику с автобазы про свет. Отчего — себе додумать не дал.

— Узнаю, Нюра. Как связь дадут — первым делом человека на район пошлю, всё про Василия твоего вызнаю. А резать — так в надёжных руках, в районной, не у нас тут. Полежит, выправят. Иди домой, не студишься на пороге.

Сказал — и сам услышал, до чего пусто. Она кивнула — поверила ли, сделала ли вид, не разобрать, — и пошла к двери, мелко, бочком, всё не вынимая рук из-под фартука.

А следующих было ещё полприёмной. Кому дров не подвезли, кому печь не тянет, кому справка, без которой надбавку к пенсии не дадут, — а до района, куда ту справку слать, было не дотянуться. Сергей Петрович кивал, обещал, отписывал на серых бланках под копирку и каждому совал то, что мог, и то, чего не мог, поровну.

Дверь в конце коридора бухнула о стену так, что вздрогнула очередь.

Женщина шла на него через всю приёмную, мимо очереди, не глядя, что не в свой черёд, — городская куртка нараспашку, волосы выбились из-под шапки, лицо белое, и не с мороза белое, а изнутри. Зуевой дочь. Та самая, что позавчера оформляла материн дом на продажу, тихая, сухая, спешила уехать, — теперь её было не узнать.

— Там, на дороге... — Голос сорвался с первого слова, высокий, чужой. Она нашла его глазами и выпалила разом, спеша, сбиваясь, глотая концы слов: — Людей туда надо послать, сейчас, немедленно! Спасателей, скорую, полицию — кого угодно, только скорей! На трассе, сразу за поворотом, машины стоят брошенные, полно, двери нараспашку — а внутри никого, ни единого человека! И будто рвал их кто — по капотам, по крышам всё разодрано, исполосовано, до голого железа, — чем такое, кто?! А дальше фура на боку, поперёк всей дороги, — ни объехать, ни обойти, по сторонам болото! Я еле развернулась, насилиу назад выбралась! Я и в сто двенадцать звонила, и в полицию — без толку, не дозвалась! Там люди ехали — и пропали, понимаете?! Целая дорога машин — и ни души! Никому оттуда теперь не выехать, никому!

Под ложечкой стягивало туже с каждым её словом. Машины. Людей нет. На той дороге — на единственной. Это было то самое, безымянное, что он всё утро гнал от себя. Чужая, городская, а вывалила всё это прямо в приёмной, в полный голос, — то, чего он и про себя назвать не смел. И на один удар сердца, прежде чем успел подумать, он ей поверил.

А приёмная уже слушала. Стало тихо, как не было за всё утро. Очередь смотрела то на неё, то на него. Михайловна привстала со стула. Сзади кто-то повторил вполголоса, пробуя слово на вес: «как — нет никого?» — и слово пошло по людям сквозняком, от одного к другому.

Вот это и было опасней всего. Не машины на трассе — слово на сорок ртов: дай ему ход, и к вечеру одни кинутся на ту дорогу искать своих, другие забьются по щелям, — и всё. Всё разом загорится и ничего уже не собрать.

И он задавил это в себе — привычно, тем же движением, каким давил всё утро, — поднялся, вышел из-за стола и пошёл к ней, не быстро. Положил руку ей на локоть — тяжёлую, тёплую, свою.

— Тихо, дочка. Тихо. — Заговорил, не думая, тем голосом, что годился для таких минут, мягким и широким, чтоб накрыл и её, и всех разом. — Ты ж Зуевой дочь? Валентины? Мать недавно схоронила, помню. Тяжело тебе, одной, в чужом доме, да под такие дела — как не тяжело. Воды дайте человеку. Машины бросили — так гроза же какая прошла, за Горелкином дерево на трассу легло, вот люди и встали: кто пешком пошёл, кто пережидает. А что ободрано — так это зверьё, серые. Тут по осени волки шалили — то собаку со двора стащат, то на ферме набедокурят. К брошенной машине зверь подойдёт, обнюхает, когтями поскребёт, бок обдерёт — эка беда. Зверьё, оно такое, дело житейское. Дойдут твои люди. Связь наладят, наши вернутся. Всё образуется.

Он говорил — и сам слышал, что брешет. Какой зверь раскроит капот до голого металла? Ни один. Знал не хуже неё. Но очередь за её спиной ловила каждое слово, и причина ей нужна была простая, домашняя, с какой живут дальше: гроза, дерево, зверьё. Он её давал.

И приёмная поверила — ему, не ей. Это чувствовалось кожей, как тепло от печки: очередь выдохнула, заворочалась, Михайловна опустила обратно, кто-то сзади хмыкнул — городская, известно, чуть что и в крик. Своё, понятное, встало на место, а чужое, что она принесла с собой в распахнутой куртке, отступило за порог, откуда и пришло.

Она не села. Стояла, смотрела снизу, и в глазах было не то, что он называл вслух при всех. Не горе. Не нервы. Она ему не поверила — и хуже того, она знала, что он сам себе не верит. Сказала уже тихо, одному ему:

— Я это видела. Близко. Там не авария и не дерево. И не волки — так волки не дерут. Это лес, Сергей Петрович. Туда нельзя.

— Разберёмся, со всем разберёмся. — Он мягко повернул её к выходу, повёл, локтя не отпуская. — Иди-ка домой, отдохни, согрейся. Не накручивай себя. Разберёмся, на то и поставлены.

И она пошла. У двери оглянулась раз — он выдержал взгляд привычно, как выдерживал всякий взгляд через этот стол, — и вышла. Люди за ней сомкнулись, но прежнего гула не вернулось: говорили вполголоса, с оглядкой на дверь.

Глава 7. «Связь наладят»

Конец октября. Второй день без связи.

Сергей Петрович постоял у стола, не садясь. За дверью приёмная вроде бы вернулась к своему — к справкам, к дровам, к хлебу, — да только вроде. Поверить-то поверили, а сейчас разойдутся по домам и понесут — кто соседу, кто свояку, — и к вечеру весь посёлок будет знать, что на трассе машины, а людей нет. А там и найдётся один, без того не бывает, кто слову его до конца не поверит: соберётся молча и сам поедет на ту дорогу — глянуть. Вот этого он и боялся — не крика, а тихого, который не спорит, а едет.

И его самого не отпускало.

Машины брошены, двери настезь, людей нет. По той самой трассе, за Горелкином. По которой одной и шёл заказ в аптеку, что лежал у него в нагрудном кармане сложенной вчетверо бумажкой.

Слова годились на всех. На себя не годились — впервые за утро.

А куда они делись-то, люди? Вылезли из машин — и куда? Пешком на Боровое — не ближний свет, да дойти можно, к утру хоть один да добрёл бы, постучался в крайний дом. Не добрёл никто. Назад, в Горелкино, отсидеться? Может, и так, должно быть, так, — да только Горелкино было отрезано, как всё за лесом, и спросить было не у кого: там ли они, греются ли в избе, как он твердил и Зуевой дочери, и всей приёмной, и себе. А в лес уйти не могли — кто ж в конце октября, на ночь глядя, полезет в чащу. Да и зачем людям в лес бежать с дороги? Зачем?

Незачем — отрезал. Запретил себе думать. Незачем и всё тут.

Самому туда соваться нечего — не председательское это дело, лазать по кюветам да светить в брошенные машины. На то закон есть.

Снял трубку, набрал отдел. Поселковая линия отозвалась сразу — своя, живая, не то что районная, давно оглохшая.

— Дежурная часть.

— Сёмин, ты? Председатель говорит. Дай-ка мне Кравцова.

— Нет Кравцова, Сергей Петрович. На выезде подполковник.

— На каком таком выезде?

— В район позавчера вызвали. Обещался сегодня к вечеру быть, да пока не объявлялся. За него капитан Дёмин остался, Игорь Васильич. Позвать?

В район. Сергей Петрович помолчал, держа трубку у уха. В район — это за Горелкино, за лес, той самой дорогой, на которой теперь стоят брошенные машины без людей. Обещался к вечеру. *Дождутся, как же.*

— Ёб твою... — сказал он тихо, в сторону, не дежурному. Перевёл дух. — Дёмина давай. Игоря. Пусть всё бросает и идёт в администрацию. Сейчас же.

— Он на участке где-то, Сергей Петрович. Найду, передам.

Положил трубку.

До Игоря было ещё время. Сидеть сложа руки он не умел — кликнул следующего, и потянулась опять очередь, мелкая, земная. У старухи горела путёвка в санаторий, теперь уж ни на что не годная. У мужика потекла крыша, а шифера в посёлке не достать. Две сестры не поделили материн огород, пришли, чтоб рассудил. Он вникал, рассуживал, расписывал на серых бланках, и за этими делами, привычными да разрешимыми, хорошо было не думать про трассу. Только нет-нет да поглядывал то на часы, то на дверь.

Игорь явился через полчаса с лишним. Стукнули в дверь — коротко, костяшкой, — и вошёл. В посёлке третий день всё лезло из пазов: не спали, не брились, ходили в чём пришлось, — а этот переступил порог в форменной куртке, застёгнутой под горло, бритый аж блестит,

фуражка как влитая, в руке кожаная папка — та самая, потёртая, с какой он отродясь не расставался. Будто и не было никакого третьего дня. Будто с минуты на минуту развод.

— Звали, Сергей Петрович?

— Звал. Садись.

Сел не сразу — сперва дождался кивка на стул и только тогда опустил, на самый край, прямо, фуражку на колено, спиной не привалившись. Иные за эти дни обмякли, ссутулились под навалившимся. Этот держался прямее обычного — будто чем хуже кругом, тем туже надо застегнуться.

Сергей Петрович встал, притворил дверь в приёмную, чтоб не слышала очередь. Тепло от котла сюда ещё не добралось — в кабинете стыло с ночи. Понизил голос.

— Дело такое, Игорь. С час назад прибежала Зуевой дочь, городская. Кричала на всю приёмную: на трассе, сразу за поворотом, машины стоят брошенные, двери настежь, а людей нет. И фура поперёк всей дороги легла — не объехать. Чуть народ мне не взбулгачила.

Игорь слушал, и лицо у него каменело — не от испуга, а оттого, что уже понимал, к чему идёт.

— За поворотом. За Горелкино, стало быть. — Сказал не Сергею Петровичу, себе. Помолчал, и глуше: — Туда мои в пятницу ушли. Двое, да Пашка на УАЗе. По вызову, на дальние деревни. К ночи должны были обернуться — нету. Рацию зову — молчат. В район звоню — без толку. Со вчерашнего как в воду.

Да господи ты боже мой...

Помолчали. И тот, и другой знали теперь: и эти двое с Пашкой, и Кравцов — все ушли той же дорогой, в ту же сторону, и ни один не вернулся. Вслух не сказали.

— Съезжу гляну. Сам, завтра с рассветом: туда по свету надо, не в обрез. — Игорь поднялся, одёрнул куртку, снял с колена фуражку. — Народ пугать раньше времени не стоит. Мало ли — гроза, дерево легло, постояли да пешком пошли. — Говорил будто сам с собой, тем же ладом, каким Сергей Петрович всё утро говорил очереди: складно, разумно, чтоб самому поверить. — Доеду до завала, дальше пешим. К темноте вернусь, доложу.

«Доложу». Сергей Петрович поглядел ему вслед. *Кому он докладывает?* — мелькнуло. *Мне? А я — кому?* Над Игорем по службе — Кравцов, которого нет, который сам теперь где-то там, на той дороге, среди брошенных машин. Надо мной — район, до которого не достучаться. Цепочка тянулась вверх, в туман, и обрывалась, а они держали её обрывки и делали вид, что она целая.

— Игорь. — Удержал у двери. Хотел сказать про аптеку, про заказ, про Зину — и не сказал. Не Игорю про то знать. — Глянь там заодно, скоро ли расчистят. Уголь у меня на станции встал, не довезли. Зима на носу.

— Гляну, — сказал Игорь, тронул козырёк, повернулся к двери.

Он окликнул его уже в спину — тише, не тем казённым голосом, каким говорил всё утро, а своим. Сам от себя не ждал:

— Если что — сразу назад. Сразу. Понял?

Тот приостановился, глянул через плечо. Не спросил — какое такое «что» может стрястись среди бела дня на пустой дороге. И без того знал. Слишком хорошо.

— Понял, Сергей Петрович.

И вышел.

Сергей Петрович шагнул к окну. Игорь пересекал двор скоро, не оглядываясь, прямой, застёгнутый под горло, — и спрятать этого было уже нельзя. Сколько ни понижай голос, ни прикрывай дверь, а вся приёмная видела, как среди бела дня вызвали участкового при полной форме. Полдня он их унимал, гасил по капле — и одним этим вызовом сам сказал им то, чего боялся выговорить вслух: дело нештучное, раз зовут закон. И слух к вечеру пойдёт уже не про крик перепуганной городской — про то, что сам председатель снарядил Игоря на ту дорогу.

А то, ради чего он на самом деле гнал Игоря на трассу, осталось при нём, и заглядывать туда он не любил. Пусть съездит. Пусть привезёт, что там — ничего. Что дорога — дорога, завал — завал, к утру расчистят, и заказ дойдёт, и Зине хватит лекарства до новой машины.

Пусть привезёт «ничего».

* * *

После обеда, отпустив приёмную, Сергей Петрович пошёл на станцию. Игоря услали на трассу, к тем машинам, а станция — забота ближняя, своя: через площадь, под горку, мимо склада. Шёл скоро, грелся ходьбой. Под ногами хрустел ледок, изо рта валил пар, и посёлок жил вокруг своим: визжала где-то пила, женщина снимала с верёвки заскорузлое на морозе бельё, пацан гнал по луже велосипед, разбрызгивая ледяную кашу. Живой посёлок. Он отметил это привычно, мимоходом, как отмечал всякий день, — и тем сильнее толкнуло его то, что открылось за углом склада.

Станция была полна.

Не работала — полна. Народ набился на перрон и в тесное зальце, как в погожий выходной на дачный поезд: с узлами, с чемоданами, с детьми на руках, с билетами, зажатými в кулаках. Старуха с корзиной устроилась прямо на узле посреди перрона и сторожила пути, будто состав мог подкрасться незаметно. Мужчина в пиджаке поверх свитера ходил вдоль края платформы взад-вперёд, поглядывая то на наручные часы, то на выходной семафор, горевший красным. Молодая женщина с двумя сумками держала за руку зарёванного пацанёнка и тоже глядела туда, откуда приходят поезда, — в сторону леса. И почти у каждого — телефон в руке: подымали над головой, водили из стороны в сторону, ловя хоть палочку, — а сети тут, у станции, не было вовсе, как отрезало. В посёлке она ещё держалась, пустая, а тут, ближе к лесу, пропала и вовсе.

На стене, под треснувшим стеклом, висело расписание, выцветшее до желтизны: семь сорок, одиннадцать двадцать, четырнадцать ноль пять. За утро по нему прошло бы два состава. Не прошло ни одного, а вокзальные часы подбирались уже к двум.

Сергея Петровича увидели — и потянулись разом, обступили, и сразу стало ясно: зря пришёл. Вопросов тут было больше, чем у него ответов, на каждого и на всех.

— Сергей Петрович! — Мужчина в пиджаке нагнал первым. — Ты власть, ты и скажи: одиннадцать двадцать будет? Мне в область, кровь из носу, вторые сутки выехать не могу.

— И мой когда? — Женщина с сумками протолкалась следом, пацанёнок споткнулся, повис у неё на руке. — Мне к матери, она при смерти, телеграмму третьего дня дали, а я со вчера тут сижу. Хоть пешком иди.

— Автобус пустите, коли поездов нет!

— Какой автобус, дорогу за Горелкином завалило, не слыхал, что ль!

— Да что ж это делается, граждане...

Голоса пошли вперебой, обиженные, испуганные, и в этом тесном гуле, дышащем в лицо луком и табаком, было то же, что утром у Зуевой дочери, только помноженное на полсотни ртов.

— Тихо. Тихо, граждане. — Сергей Петрович поднял руку, и на них подействовало, как действовало всегда: он власть, он стоит твёрдо, значит, не всё ещё пропало. Гул сел. — Связь оборвало, дорогу за Горелкином завалило в грозу — оттого и поезда встали, и автобус не пустишь. Расчистят — и тронется всё разом. Потерпите. И нечего тут толпиться!

— Третий день терпим! Где расписание взять нормальное?!

— Будет связь — будет и расписание. — Сказал твёрдо, как отрезал, и сам почти поверил. Толпа поворчала, но осела.

Большого им он дать не мог, а сам пришёл не успокаивать — узнать. Сергей Петрович стал проталкиваться к дежурке: через набитое узлами да чемоданами зальце, мимо чьих-то колен, мимо ребёнка, спавшего прямо на тюке, — бочком, плечом вперёд, роняя на ходу «потерпите, потерпите». За спиной толпа смыкалась и опять гудела — без него ей делалось только хуже. Он толкнул отсыревшую дверь дежурки и вошёл к тому, кто и должен был знать, что там, на дороге, творится.

Прохоров отбивался от таких же — двое стариков наседали на него через стойку.

— ...да не знаю я, граждане, не знаю! Знал бы — всё вам сказал! — Увидел его, обрадовался, как утопающий доске, выпроводил стариков за дверь, прикрыл. Лицо серое, мятое: тоже, видать, не спал. — Замучили, Сергей Петрович. С рассвета валят: где поезд да где поезд. А я почём знаю? Моё дело — встретить, отправить, по линии отзвониться. А тут...

— За тем и пришёл — узнать. — Сергей Петрович плотнее прикрыл за собой дверь. — Давай толком, по порядку. Когда последний состав прошёл? Куда дозванивался? Что по рации? Прохоров устало потёр лицо ладонью.

— Последний пассажирский — семь сорок, позавчера, на город. Ушёл и с концом: не доехал, не вернулся, по линии не отозвался. Вечеру ещё порожняк на город протолкнули — и тот туда же. Встречный с города не пришёл. И вчерашние оба не пришли. Я диспетчеру звоню, в район, на соседнюю станцию — всем подряд. — Махнул рукой на телефон, на рацию, на щиток с тумблерами. — Глухо. Вся дорога глухо. Будто там, за лесом, и нет ничего: ни города, ни станций, ни живой души.

— Может, полотно размыло? — Сергей Петрович сказал то же, что толпе, что себе, и сам услышал, до чего жидко. — В двенадцатом под Горелкином размыло насыпь, неделю стояли, отсыпали — и пошли. Помнишь?

— В двенадцатом телефон работал. — Прохоров поглядел на него устало, без вызова, и оттого вышло хуже, чем с вызовом. — Размыло — диспетчер звонит: там-то, мол, размыв, ремонт, держите пассажиров. Это порядок, это понятно. А тут не размыв. Тут будто провод обрезали и конец в траву кинули. Ушёл состав в лес — и слизнуло, как языком. И ни одна душа оттуда не звонит.

Лес. Сергей Петрович отметил, что и Прохоров говорит уже не «за Горелкином», а «за лесом», и сам он про себя думает так же — как та, утренняя. Слово липло ко всем, как смола, и отодрать его никак не получалось.

В окошко дежурки виден был товарный двор: у запертого склада без дела топтались грузчики — приезжие, кучкой, в куртках не по погоде, курили одну на троих, ждали неизвестно чего. Разгружать нечего: вагонов нет. Платить, стало быть, не за что — а кормиться им надо, и зимовать, и это тоже скоро ляжет на него, к остальному. Старший, тот, что по-русски без запинки говорит, поймал его взгляд через стекло, чуть кивнул — спокойно, выжидательно. Сергей Петрович отвёл глаза.

— Держись, Прохоров. — Натянул шапку. — Топи дежурку. Народ к темноте по домам разгони — нечего им на холодном перроне ночь коротать. Пойдут поезда — пришлю когонибудь, первым узнаешь. И с телефоном своим разберись, слышишь? До вас не дозвониться — я с утра трезвонил, плюнул да пешком пришёл.

— Пойдут ли? — Прохоров сказал это тихо, не в спор, и отвернулся к печке.

Назад Сергей Петрович шёл медленнее, чем сюда. Толпа за спиной не расходилась — стояла на перроне, ждала поезда, которого не будет, и в этом ожидании было что-то, чего он не умел назвать и называть не хотел. Размыло, твердил про себя в такт шагам. Размыло, связь побило, одно к одному, всякое бывает, не конец света. Слова ложились гладко, привычно — а толпа на перроне, и красный семафор, и «слизнуло, как языком» не укладывались никуда.

* * *

Домой пришёл затемно, отходя весь день до подошв — приёмную, станцию, сотню лиц и нужд, которым нет ни конца, ни ответа.

Задержался во дворе, не поднимаясь на крыльцо. Под горкой в этот час всегда проходил товарняк — на город порожняком, обратно с грузом, — и ухо за полвека привыкло к этому гулу, как привыкаешь к шуму котельной за стеной: пока гудит — спишь, а стихнет среди ночи — вскинешься, ещё не поняв, что не так. Сейчас гула не было. Он стоял и слушал, как не идёт поезд.

В сенях пахло теплом и геранью, живым, домашним, и он постоял минуту на пороге, отпуская плечи, отходя от уличной стужи. Печь истопил с утра жарко, на весь день, не жалея дров: поленница за домом пока стояла полная, своя, и одно это было ему по силам — чтоб ей было тепло, что бы ни делалось со светом, с котельной, со всем посёлком.

Зина лежала, как лежала теперь всегда: на спине, на высоких подушках, лицом к двери — чтоб видеть, кто войдёт. Лампа под розовым ситцевым абажуром горела слабо, и лицо её, исхудавшее за год, в скудном этом свете казалось ещё меньше, ещё дальше. Пахло лекарствами, нагретой пылью абажура и той немощью, тем духом долгой лежачей болезни, к которому он притерпелся за год и которого всё равно не выносил.

— Пришёл. — Она повернула голову по подушке, медленно. — Поздно нынче.

— Дела. — Сергей Петрович стянул куртку, прошёл, сел на край кровати, на своё продавленное за год место. Взял её руку поверх одеяла — лёгкую, сухую, прохладную, хоть в доме и натоплено. Погрел в своих ладонях.

— Лекарство пила?

— Тебя ждала. Сама рассыплю — не соберу.

Потянулся к тумбочке. На блюде лежал початый блистер. Выдавил на ладонь, что положено, — две белые, одну розовую, — подал ей, поднёс воды в поильнике. Пока она глотала, по таблетке, запрокидывая голову, он против воли прикидывал глазами: сколько осталось в блистере, сколько в коробке, сколько в той, початой, в комод. Выходило на неделю. На полторы, если растягивать. А лекарство это возили из аптеки, а в аптеку — по той дороге, за Горелкином. По той самой.

— Серёж. — Она отвела поильник, поглядела снизу, с подушки, тем долгим взглядом, каким глядела тридцать лет, насквозь. — Что стряслось у тебя?

— Ничего не стряслось. Завоз застрял, гроза дорогу завалила, расчистят. — Те же слова, тем же голосом, что весь день. Он и не заметил, как заговорил с ней, как с приёмной.

— Мне-то не пой. — Она усмехнулась слабо, одними губами. — Я это твоё лицо тридцать лет знаю. Когда у тебя глаза такие — значит, худо. Хуже, чем на словах.

Он не ответил. В чёрном оконном стекле отражалась их комната — лампа, подушки, двое немолодых, — а за отражением лежал тёмный двор, и за двором тёмный посёлок, и за посёлком лес, в котором пропадала дорога, та единственная. Сказать ей это он не мог. Не оттого, что не доверял, — оттого, что, сказав вслух, поверил бы сам, окончательно, а верить было нельзя.

— Связь наладят, Зин. — Подоткнул ей одеяло, привычно, под бок, под плечо. — Наладят связь, расчистят дорогу, привезут твоё лекарство — и всё пойдёт по-старому. К весне посмеёмся. Спи.

— К весне. — Она прикрыла глаза, успокоенная не словами, а тем, что он рядом, что подоткнул одеяло, как всегда подтыкал. — Посиди. Пока не усну.

И он сидел, держал её руку в тёплой комнате посреди стынувшего посёлка и считал уже не таблетки — дни. За каждым днём стояли та дорога и тот лес, и то, чего весь день не давал себе додумать до конца. Сидел и держал, будто, пока держит, ничего не сделается. Будто связь и впрямь наладят.

Глава 8. «По вызову»

Конец октября. Третий день без связи.

Игорь притопнул на пороге, сбивая уличную грязь, и вошёл в тепло. В отделе было натоплено — пахло горячей пылью с батареей, казённой бумагой и тем самым служебным духом, какой держится тут чуть ли не с сотворения мира. Лампы под потолком горели вполсилы, и в конце коридора бубнил пустой эфир из дежурки. Утро как утро. В этот час в коридоре уже толклись бы, кто-нибудь крыл бы матом заевший принтер, Пашка тянул бы сигарету на крыльце, хотя нельзя. А сегодня было тихо. Пусто.

Вчерашнее, брошенное председателем вдогон, не шло из головы — тихое, не по-казённому: «если что — сразу назад. Сразу.» Сергей Петрович, видать, и сам не знал, к чему это сказал. А сказал, и Игорь не переспросил: и без того поняли оба, через стол, одно — той же дорогой ушли и Кравцов, и Пашка с ребятами, а назад пока не вернулся никто.

Игорь прошёл по коридору, и шаги отдавались в пустоте неожиданно громко.

В девять полагался развод. Игорь по привычке чуть не свернул к доске — встать, зачитать сводку за сутки, раздать наряды, — да разводить было некого. Сверху третий день ни ориентировки, ни звонка, а что делалось в посёлке, он и так знал, не открывая журнала.

У своего кабинета не остановился. Дальше по коридору осталась приоткрытой дверь Кравцова — подполковник толкнул её три дня назад, уходя на выезд, да не закрыл за собой. Думал, вернётся к вечеру. Вчерашнему. На вешалке за дверью остался запасной китель начальника. Игорь, проходя, отвёл глаза: третьи сутки он держал отдел один и так и не зашёл в кабинет начальника — садиться за чужой стол было не по чину.

Старшим теперь был он. Не по приказу — такого приказа никто не отдавал, да и отдать было некому: тот, кто командовал Игорем, сам уехал в район и не вернулся.

Исполняющий обязанности. Вот кем теперь стал Игорь. И. о. начальника отделения.

Провались оно пропадом.

В кабинете участковых было три стола, и за всеми никого. На столе у Пашки, у окна, всё осталось, как он бросил в пятницу: кружка недопитого чая, в котором скончалась уже не одна муха, да раскрытый кроссворд с ручкой поперёк. Пашка вечно корпел над этими клетками, грыз колпачок, лез через весь кабинет — «Васильич, греческий бог войны, четыре буквы?» — и бросал недорешённым, как бросал всё, за что брался не по службе. Молодой вроде парень, а развлечения у него пенсионерские какие-то.

В дежурке всё было как заведено: на плитке исходил паром чайник, и Сёмин сидел над станцией — грузный, со смятым лицом, водил ручкой по шкале, на палец туда, на палец обратно. С пятницы он вызывал ушедших — Сорокина, Дроздова да Пашку на УАЗе, отправленных по сообщению на дальние деревни, — вызывал и район, и любую живую частоту, а в ответ тёл один белый шум. Под шестьдесят уже, дежурил он тут, сколько Игорь себя на службе помнил, и сменить его теперь было некому: третий дежурный уехал с Кравцовым, второй жил за рекой и не пришёл.

— Чаю будешь? — Сёмин кивнул на чайник, не отрываясь от шкалы.

— Не до чаю. — Игорь встал у пульта. — По нулям?

— Глухо, Игорь Васильич. Как отрезало. То ли антенну где сбило, то ли что. Станция старая, дунь — рассыплется. — Сёмин отпустил ручку, оставил шипеть, потёр глаза кулаком. — В кабак они там какой завалились, что ли?..

В кабак, как же. Но спорить не стал — Сёмину так было легче, чем по правде. Да и ему самому.

Складно ведь выходило: загуляли, напились, отлёживаются где-нибудь сейчас, повыключав рации. Бывало же такое? Бывало.

Игорь гонял эту мысль туда-сюда и хотел бы в неё поверить, да не мог. Слишком много уже приходилось оправдывать за последние сутки.

Оружие держали тут же, при дежурке. Игорь кивнул на оружейку, и Сёмин, кряхтя, поднялся, отпер железную дверь, выдал пистолет и две снаряжённые обоймы, расписал в книге — число, фамилия, сколько. Игорь расписался в получении. Постоял.

— Дай ещё две.

Сёмин на секунду задержал на нём взгляд. Достал ещё две, положил на стойку и в книгу не вписал. Зачем на «съездить да разобраться, что с дорогой» четыре обоймы — ни тот ни другой вслух не сказал.

Игорь рассовал обоймы по карманам. Машины брошены, двери настежь, людей нет — и он против воли стал прикидывать, что там стряслось, как привык подъезжать к месту уже с догадкой. Поломка, авария — по сводке «транспорт оставлен, водители убыли»: заглохли в грозу, плюнули, побрели пешком. Только кто ж бросает машину нараспашку, не заперев, не забрав ничего из салона? И не глохнет разом вся дорога. Стало быть, не поломка. Разбой — тормознули, вытрясли? Тоже мимо: машины стоят на месте, не угнаны, полные, брошены как есть, а грабёж тем и кончается, что уводят либо машину, либо добро из неё. И кто на тупиковой дороге возьмётся за всех разом? Куда потом денет людей? Стало быть, не разбой.

А что тогда уводит всех, кто там был, разом — без угона, без следов борьбы, без единого тела, — на это в его сводках графы не находилось. И всякая следующая догадка выходила хуже прежней, а последняя была уже без названия вовсе. Игорь себя оборвал. Гадать наперёд — последнее дело. Доедет — увидит.

Машина оставалась одна, старая «Нива»: УАЗ ушёл с ребятами за лес. У выхода Игорь оглянулся — рыжий глазок дежурки, приоткрытая дверь Кравцова.

— Я на трассу, к повороту. К темноте буду. Поймаешь хоть писк — вызывай. — Он помедлил. — И запишись тут. Мало ли.

Сёмин хмыкнул было — от кого среди бела дня запирается в отделе, — но Игорь уже шёл к выходу.

— Куда ж ты один-то? — сказал Сёмин ему в спину.

Игорь не ответил: ехать было не с кем, а бросить отдел вовсе пустым нельзя. Вышел на крыльцо, и сразу обдало морозом, после тепла особенно злым. За посёлком низко начинался лес — та сторона, куда ушли и Пашка с ребятами, и Кравцов, и все, кто ушёл. Туда он и отправлялся.

* * *

«Нива» стояла у крыльца с ночи и промёрзла насквозь. Игорь рванул примёрзшую дверь, сел. В кабине холод был злее уличного: железо, дерматин сиденья, баранка — всё промёрзло и обжигало даже сквозь перчатку. По лобовому изнутри лёг иней, тонкий, к краям гуще. Из рта и тут шёл пар.

Он вытянул подсос, повернул ключ. Стартер взялся вяло — аккумулятор за ночь подсел на холоде, — тянул всё тяжелее, выдыхался, и Игорь, сам не замечая, считал обороты, как пульс: пока крутит — живой.

— Ну, — сказал он машине негромко. — Не дури.

Чихнуло, схватило — и завелось. Мотор затрясся, холодный, на подсосе, взхлёб, того гляди заглохнет — но держался. Игорь подержал его на оборотах, дал прогреться. Из печки поначалу потянуло тем же холодом, потом понемногу — тёплым. Он соскрёб с лобового иней ребром перчатки, продышал глазок шириной в ладонь. Хватит. Тронул.

Посёлок пошёл мимо тихий, но живой: за занавеской дрогнула тень, у «Пятёрочки» старуха с сумкой остановилась и долго смотрела «Ниве» вслед. А навстречу — никого. К окраине, к лесу, в этот час никто не совался, кроме него.

Цеплял на ходу, по привычке: у Гречкина ворота нараспашку, машины во дворе нет — а Гречкин из тех, кто и ворота на засов, и сени на крюк. Складывать, по правде, было нечего — ни происшествия, ни состава, — да глаз не отучишь за двадцать лет на земле. Смотрел на знакомые места, где что-то сдвинули на палец, а что — не ухватишь.

Дома пошли реже, асфальт под колёсами в заплатках и наледи. Посёлок истончался к краю. Впереди серой стеной поднимался лес, и дорога шла на него в лоб — за поворотом нырнула в чащу и тянулась дальше, на Горелкино, на город, на всё, что за лесом молчало третьи сутки.

За поворотом открылась дорога, и Игорь сбросил газ.

Машины стояли не кучей — вразброс, как их застало. Он насчитал с ходу пять, может шесть: легковушки, дальше «газель», а за ними, поперёк всей дороги, завалившись в кювет, лежала на боку фура — та, про которую кричала городская. Двери раскрыты, все до одной. А людей не было нигде — ни единого. Не ушли, не разбежались — просто не стало, всех разом, кто где сидел.

Игорь подкатил, не доезжая шагов полста, и заглушил мотор.

И тогда навалилась тишина. Без двигателя — ни звука: ни ветра в вершинах, ни дальнего поезда. Только своё дыхание да тонкий стук остывающего железа под капотом. Лес подступал близко и молчал — но не так, как молчит живой лес, где всегда что-нибудь живёт: птица вспорхнёт, хрустнет ветка под лапой. Тут не было ничего.

Игорь вышел из машины. Дверца хлопнула на весь лес, и он застыл, не отняв руки, — точно этим хлопком что-то задел. Ничего не отозвалось. Только под подошвами хрустнула наледь, и хруст этот тоже был слишком громкий.

К ближней машине он подошёл, как подходил к месту не первый год: медленно, забирая глазом всё разом ещё на подходе. Серая легковая, все четыре двери настежь. Игорь тронул на груди регистратор — пошла запись — и начал наговаривать, вполголоса, как на всяком выезде, чтоб не думать раньше времени:

— Легковой автомобиль, «десятка», серый. Носом в кювет, под углом. Водительская дверь настежь...

Слова ложились на запись, плоские, служебные, и от них стало чуть легче — будто он на работе, будто это место можно разложить по пунктам и тем приручить. Ключи торчали в замке. На торпедо телефон, рядом раскрытая сумка, выпавший кошелёк. Никто не паковался, не бежал: ехали себе в город по делам — пока не стряслось.

А по кузову — борозды. Четыре в ряд, наискось — через дверь, крыло и крышу одним махом, до голого железа, и краска завёрнута по краям. Стекло водительской двери выбито внутрь, на сиденье осыпь, седая от инея.

Игорь стянул перчатку, провёл по задирам голой ладонью. Обожгло холодом. Не зверь: коготь срывается, дерёт как попало, а тут резало начисто, на всю глубину. Не инструмент: тот оставит заусенец, кромку, а тут металл отвернуло, как кожуру. По таким меткам он читал, что прошло и откуда, — а эти не читались. Сказать было нечего.

Двери настежь у каждой — а ни крови, ни следов борьбы, ни тела. Игорь прошёл вдоль ряда, нагибаясь к обочинам: иней по серой кромке лежал нетронутый, без единого следа. Колёи вели только сюда. Приехали, встали — и больше ни один след не уходил прочь. Ни к лесу, ни к посёлку — никуда. Никто из машин не выходил.

А в одной, на заднем сиденье, — детское кресло. Пустое, пристёгнутое. Игорь скользнул по нему взглядом и мысли не довёл. Не довёл.

— ...Происхождение повреждений не установлено, — договорил он в регистратор, тише. — Следов борьбы нет. Следов волочения нет. Людей... также не обнаружено.

И тут его потянуло вниз. Под машину. Сам не понял зачем — чутьё, какое за годы службы само ведёт туда, где неладно. Присел на корточки у переднего колеса, заглянул в густую тень под кузовом.

Там, на асфальте, темнело.

Игорь опустил ниже — на колено, на локоть, повернул голову щекой почти к ледяному асфальту, чтоб поймать свет под днищем. Дыхание било паром в железо и возвращалось в лицо. Пахло стывшим металлом и бензином — из бака над самой головой.

У самого его лица на асфальте лежал ноготь. Человеческий, сорванный — белёсым полу-месяцем. Рядом темнела смазанная полоса — кровь. Он прошёл весь ряд — нигде ни капли, а тут, под кузовом, она. Единственная. А от того тёмного места к краю, наружу, тянулись борозды. Четыре. От пальцев. Кто-то лежал тут, забившись под кузов, в тень, и держался за асфальт ногтями, когда его тащили за ноги наружу. Цеплялся так, что оставил ноготь.

Прятался — значит, понимал. А раз выволокли — было кому.

— Гражданин... — сказал Игорь в железо, по привычке, чтоб слова держали. — Гражданин укрывался под транспортным средством и...

Слова кончились. Следующего не нашлось. Двадцать лет служебный язык договаривал за него всё, любую мерзость, и тем держал на ногах, — а тут впервые молчал: не было статьи, не было графы, не было слова на то, что здесь случилось. А регистратор на груди писал исправно — кровь, его дыхание. Всё, кроме того, что это сделало. Игорь лежал щекой в наледи, у чужого сорванного ногтя, и форма на нём была пустая, как тот китель на вешалке у Кравцова.

Он оперся ладонью, поднялся — медленно, на ватных ногах. И снизу, от самой земли, в глаза бросилось то, чего не видно было сверху: дальше по ряду, за «газелью», съехавшая боком в кювет, стояла грязно-белая «буханка». УАЗ. С синей полосой по борту и помятым крылом, которое Пашка месяц грозился выправить да так и не успел.

Игорь постоял, переждал, пока перестанет колотить, и пошёл к нему — медленно, как ходят к тому, чего видеть не хотят.

Тот самый УАЗ, что ушёл с ребятами за лес. С дороги, из-за «газели», его было не углядеть. Игорь знал в нём каждую вмятину, сам сто раз садился на это продавленное сиденье, мёрз с Пашкой в этой будке ночами. Теперь стоит здесь. Брошенный. Пустой.

На торпедке валялась початая пачка сигарет — тех самых, что Пашка тянул на крыльце, хотя нельзя. А на водительском сиденье лежал пистолет.

ПМ Пашки. Кобура расстёгнута, ремешок откинут — будто снял на секунду, положить, поправить, и вот сейчас возьмёт обратно.

Игорь смотрел на пистолет. Двадцать лет на службе — и ни разу, ни от кого: мент не бросает оружие. Никогда. Табельное при нём под роспись, оно — последнее, что человек отдаёт, и только из мёртвой руки. А тут — на сиденье, как пачка сигарет. Пашка не отстреливался: магазин полный, гильз нигде нет. Не бежал с ним: вот оно, на виду. Не сунул в кобуру, не схватил, уходя, — будто между «сидел за рулём» и «нет его» не легло ни секунды.

Игорь взял ПМ — чужой и знакомый разом. Проверил, как проверяют всякий ствол: магазин полон, в патроннике пусто. Пашка его даже не взвёл. Сунул за пояс. Бросить не мог: табельное оружие не бросают.

На панели жила рация — красный глазок, тихий, и из динамика тёк белый шум. Живая. Игорь снял тангенту, помедлил, нажал.

— Сорокин, Дроздов, ответьте. Дёмин на связи. Приём.

Шипение. Переждал, нажал снова, короче:

— Кто меня слышит, отзовись.

То же шипение. Прокрутил частоты — район, аварийную, все подряд, — и везде одно: гладкое ничто, ни щелчка, ни даже чужого эфира. Связь была. Эфир был. Не было только тех, кто на том конце.

Он опустил тангенту. Считать он умел и любил — смены, наряды, патроны, — счёт держал, когда под ногами плыло. И теперь он считал своих. Сорокин. Дроздов. Пашка. Кравцов. Четверо. Все выехали этой дорогой, все где-то тут, впереди, — дальше, чем дошёл он. За машинами, за той фурой, к которой он ещё не приблизился.

Стоять у пустой будки и не пойти Игорь не мог. Тронул своё табельное в кобуре, чужое за поясом — и пошёл вперёд, мимо ряда, к завалу.

Дорога стелилась пустая, седая от инея, под глухой стеной леса. Шаги были единственным звуком на всём свете, и Игорь, сам того не замечая, стал ступать тише, мягче — так ступают там, где боятся кого-то разбудить. Фура впереди росла, на боку, распоротым тентом к чаще. Сорок шагов. Тридцать.

И тут он остановился.

Ни звука не прибавилось, ни тени не двинулось — пустая дорога, мёртвые машины, чёрный лес в трёх шагах от обочины. Но на него смотрели. Затылком, кожей он поймал чужой взгляд — как ловят чужого в тёмном дворе на ночном вызове, ещё не обернувшись, ещё не зная, откуда тот выйдет. Двадцать лет это чутьё его не подводило. По хребту, без единого дуновения ветра, продрало морозом, и всё в Игоре заорало одним голосом: беги.

И в тот же миг, поверх этого крика, всплыло чужое, тихое, не своё — председательское: сразу назад. Сразу.

Думать Игорь не стал. Развернулся и кинулся прочь, мимо мёртвых машин, к «Ниве» — тяжело, оскальзываясь на наледи, — и всю дорогу спину жгло: вот сейчас, сзади. Он не обернулся ни разу — знал, что обернётся и пропадёт. Доскочил, втиснулся за руль, потянул дверь на себя — придавил собачку замка. Что той твари запор — смех один, он понимал это трезво, как про чужой засов на сарае. А всё же отпустило, на волос — на то железо, что встало между ним и дорогой.

Сидел, вцепившись в руль, пока не унялось сердце и не отпустило руки. За стеклом лежала та же дорога — машины, фура, лес. Из чащи не вышло ничего. Ничего не двинулось. Может, и не было ничего — нервы, морок. Столько лет на службе, а шарахнулся, как мальчишка.

Только он знал, что не морок. И знал теперь ещё одно, хоть и не пускал в слова: своих ему отсюда не вывести. Ни Сорокина, ни Дроздова, ни Пашку. Нет их больше. Пропали.

Он завёл «Ниву», развернулся в три приёма на тесной дороге. И, разворачиваясь, решил — сам, без приказа, которого некому было отдать. Дорогу закрыть. Не здесь, у фуры, — здесь не выстоять. На въезде, у самого посёлка: машину поперёк, ленту, пост. Чтоб больше ни одна живая душа не сунулась сюда. Один он эту дорогу не удержит. Но закрыть — закроет. Больше некому.

Назад «Нива» шла ходко. День, короткий, октябрьский, догорал за лесом мутной полосой, посёлок впереди уже теплился редкими окнами, и Игорь гнал, торопясь поставить пост засветло. У самой опушки навстречу выскочили фары.

Машина шла туда — к лесу, на мёртвую дорогу. Игорь встал поперёк, мигнул дальним, вышел. Из встречной легковушки высунулся мужик, немолодой, с серым от недосыпа лицом.

— Чего перегородил? Пусти.

— Дальше нельзя. Дорога закрыта. — Игорь сказал это, как говорят на посту: без нажима, без объяснений, чтоб не спорили. Только бы мужик не расслышал, как дрожит голос. — Поворачивай.

— Мне за Горелкино. Сын там, в городе, третий день не звонит. Съезжу гляну да назад.

— Разворачивайся, сказал! — Игорь повысил голос, и тот на крике сорвался, выдал дрожь, которую он прятал. — Дорога закрыта! Будешь спорить — пятнадцать суток за неповиновение, и поедешь не к сыну, а в обезьянник!

Пригрозил — и сам услышал, до чего пусто. Какие пятнадцать суток. Сажать некому, везти некуда, и не за что: мужик к сыну ехал, и только.

— Не доедешь. — Уже тихо. Игорь поглядел ему в лицо. — Я сам оттуда. Там... — и запнулся. Сказать, что там, он не мог: ни словом из устава, ни словом вообще. — Туда нельзя. Совсем. Разворачивайся, езжай домой.

Мужик смотрел на него — на форму, на бледное лицо — и не верил. Игорь видел это ясно, как след на снегу. Менту, который сам только что вернулся оттуда едва дыша, — не верил. Утром, он слышал, так же отмахнулись от той городской, что прибежала к председателю с этой самой дорогой. А теперь не верили ему, закону. У мужика там был сын. Что ему закон, когда там сын.

Игорь не сдвинулся. За ним не было силы — пустой отдел да один Семин у глухой рации, — за ним было только то, что он ещё стоял твёрдо поперёк дороги, в форме. На том и держалось. Мужик поматерился, сплюнул под колёса, развернул машину и поехал назад, к посёлку. Сегодня — поехал.

А завтра приедет другой. И не один. У каждого там свои, и каждому Игорь скажет «нельзя», и каждый поглядит на него вот так. Скольких он развернёт — один, на пустой дороге?

* * *

В администрацию Игорь пришёл затемно. Председатель ещё сидел — один, при настольной лампе, над раскрытой тетрадью. Приёмную давно отпустил, а сам не уходил, будто ждал.

Игорь не сел — стоял, как простоял весь день, и тепло кабинета до него не доставало: руки с дороги заоченели. Доложил всё, как по форме: брошенные машины, фура поперёк, борозды в железе. Людей нет — ни тел, ни следов, чтоб уходили сами. А под одной машиной — сорванный ноготь, кровь, борозды от пальцев по асфальту: прятался кто-то под кузовом, держался, пока тащили. Наш УАЗ с ребятами там же, пустой. И выложил на стол чужое табельное — ПМ Пашки, в расстёгнутой кобуре. Лёг тяжелее своего.

— Мент не бросает оружие, Сергей Петрович. Никогда. А оно — вот. На сиденье лежало.

Председатель глядел на пистолет и в руки не брал. Лицо тяжёлое, серое. Игорь ждал — слова, приказа, хоть чего-нибудь сверху, — а сверху было пусто, как пусто было весь день: района над ним нет, а председатель ему не начальник — такой же полый, как он сам.

— Перекрыл дорогу — верно сделал. — Председатель заговорил тяжело, не поднимая глаз ни на Игоря, ни на пистолет. — Держи, раз взял. Пост поставь, никого туда не пускай. — Помолчал, постучал пальцем по тетради, по своему. — Только вот что. Тихо это. Без шума. Народу — гроза, дерево легло, расчистят. Понял меня? Свяжемся с районом, наши вернуться — а до того не смей будоражить. Пустишь панику — они сами друг друга передавят, тут и без леса поляжет полпосёлка.

— Мне бы людей. Одному дорогу не удержать.

— Нет людей. — Сказал, как отрезал. — У района нет, у меня нет. Соберём дружину после, добровольцев, кого-нибудь из наших, как уляжется. А пока — сам. Справишься.

Игорь слушал. Председатель не спросил ни про Пашку, ни про того, кого живём выволокли из-под машины. Не хотел знать. Отворачивался складно, разумно, заботой: бережём людей, не нагнетаем. То же самое, слово в слово, что Игорь твердил себе утром, что председатель раздавал приёмной. Только теперь это враньё было не его и не председателя — общее. Уговор. Двое стояли над пустой дорогой, над стволом Пашки, и сговаривались не знать.

И ещё одно дошло, совсем некстати. Там, на дороге, развернув того мужика, он, закон, сказал то же самое, что утром кричала городская. Она была права. Он теперь тоже прав — и так же никому нахрен не нужен с этой своей правотой.

От председателя Игорь поехал не домой — к въезду. Пост ставил уже в ночь: загнал «Ниву» поперёк, у крайних домов, размотал от столба к столбу бело-красную ленту, повесил на лом фонарь. Стоял один. Мороз уже не обжигал, как утром на крыльце, — за день Игорь промёрз до костей, а с поста было не уйти. Смотрел на дорогу, уходящую в чёрный лес.

И взяло его — не страхом, а ясностью, простой и холодной. Дорога — лишь одна лазейка наружу. А есть ещё станция, рельсы за поляну, река, тропы через болото — и сам лес, вплотную, со всех сторон, к самым огородам. Не снаружи держать, чтоб не пускать, — лес не снаружи. Посёлок внутри него, весь, со всеми своими, с пятиэтажками, с отделом, с этой вот лентой. Двумя руками не перекрыть. И целой дружиной — не перекрыть.

Не удержать.

Глава 9. «Тропой»

Конец октября. Четвёртая ночь без связи.

Четвёртую ночь со станции не уходили поезда.

Раньше Бахтиёра будил состав — ещё за лесом, за поворотом, а он уже натягивал на нарах сапоги, потому что сейчас лязгнет, подкатит к товарному двору, и бригаде идти разгружать. Десять лет он вставал на этот лязг, не просыпаясь толком. Теперь его не будило ничего. Рельсы под снегом молчали, над товарным двором горел один фонарь, и снег валился в его жёлтый столб, садился на шпалы и лежал нетронутый — колёса его больше не сбивали.

Снег шёл крупный, тяжёлый — первый настоящий. До того сыпала крупа и таяла к полудню, этот лёг и таять не думал. Мороз поднимался из земли сквозь две пары носков и валенки, добирался до колен. Бахтиёр стоял у стены барака и считал. Одиннадцать мужчин он перевёз сюда по одному за шесть лет — крюк, родня из одного кишлака под Маргиланом. При иных были уже жёны, дети, старики-родители — полный барак, и все ждали, что он скажет.

Их матери, провозая, совали ему в руки своих сыновей и по лепёшке в дорогу. Привёз — стало быть, и довезёшь обратно. Кого он не знал с пелёнок, того знал по родне.

Дома, под Маргиланом, у него остались жена и два сына. Он слал им деньги каждый месяц и звонил по воскресеньям. Поезда не ходили четвёртый день — значит, не было разгрузки, не было денег, нечего слать. Вчера было воскресенье — он набрал жену: в трубке погудело и смолкло. Набрал ещё раз, потом убрал телефон в карман.

За фанерой не спали. Кто-то тихо переговаривался, звякнул о плиту чайник, надсадно закашлялся Хайдар — он кашлял уже неделю, сухо, нехорошо. Тянуло дымом и бараньим жиром: Зухра-апа варила им в дорогу. Никто не вышел и не спросил, идут или нет. Ждали его слова.

Шавкат вышел первым — он всегда оказывался там, где Бахтиёр. Восемнадцать лет, сын двоюродной сестры. Та, провозая, держала Бахтиёра за рукав дольше, чем надо, так ничего и не сказав, и это её молчание он таскал за собой третий год. Мальчишка не снимал даже в бараке синий рюкзак с обмотанной скотчем ляжкой — там лежали телефон, зашитые в подкладку деньги, две рубашки и коробка конфет для матери, купленная ещё летом и сбережённая до отъезда. Коробку он показывал Бахтиёру раз пять. «Сам в руки дам. Дома.»

— Едем, Баха-ака? — Мальчишка переминался, ему не терпелось. Бахтиёр знал его с малых лет: тот боялся не смерти — боялся, что оставят.

— Грейся пока, — сказал Бахтиёр. — Рано ещё.

За Шавкатом, опираясь на палку, из барака вышел Эргаш-ота. Было ему под семьдесят. Он читал над их мёртвыми, мирил их живых, и когда он говорил, бригадир замолкал и слушал. Без его слова Бахтиёр не повёл бы никого.

— Не ходил бы, — сказал Эргаш-ота по-своему, негромко, глядя не на Бахтиёра, а мимо, в темноту за фонарём, где кончался свет и начинался лес. — Шесть лет тихо жили. Тихих не трогают, сынок. Шумного метут, тихого обходят. Пересидим. Мука есть, дрова есть. Дорогу почистят — дадут поезд.

— Поезда не будет, ота. Четвёртую ночь нет. И телефоны молчат. И тех, кто пошёл по путям узнавать, нет до сих пор. Это не пересидеть.

Старик долго молчал. Снег садился ему на плечи, на белую бороду, и он не стряхивал.

— Кого поведёшь?

— Кто дойдёт. Нас будет шестеро. До Горелкина — там трасса, там люди. Дойдём — пришлю машину за остальными, за слабыми. Хайдара с его кашлем не возьму. Женщин, детей по тропе, по морозу — не возьму. Вы с ними здесь. Я вернусь.

— Ты вернёшься, — тихо сказал он и отвернулся к лесу.

Бахтиёр наклонил голову. Эргаш-ота положил сухую ладонь ему на затылок, шепнул короткое слово, убрал руку. Вот и он их отпустил. Бахтиёр выпрямился и пошёл к машине.

Буханка стояла в углу товарного двора, под навесом, — бригадная, на ней возили что придётся: доски, людей, мешки с цементом. Бахтиёр держал её на ходу не первый год, знал все её болячки: где подмотать, где подёргать, на каком морозе она встаёт колом. Такого мороза ещё не было.

Он смёл рукавом снег с лобового, рванул примёрзшую дверь — она хрустнула, поддалась со второго раза. В кабине обдало холодом злее уличного — железным, мёртвым. Он сел, не закрывая дверь, до отказа вытянул подсос, подвернул ручной газ, выжал тугое, загустевшее на морозе сцепление и повернул ключ.

Под капотом щёлкнуло реле. Стартер пошёл — медленно, через силу, словно проворачивал не мотор, а вмёрзший в землю камень. Раз. Два. Аккумулятор сел на морозе без подзарядки, каждый оборот вытягивал из него последнее. Мотор не схватывал.

Бахтиёр отпустил ключ. Стало слышно, как тикает, остывая, металл, и как у барака опять зашёлся Хайдар. Стартер был громкий — слишком громкий для ночи, в которой не звенели даже рельсы. На миг показалось, что в темноте, за кругом фонарного света, кто-то поднял на этот звук голову. Бахтиёр не обернулся.

— Не заведётся, — сказал сзади Рустам. Осторожный, всегда осторожный.

— Заведётся.

Крутить подряд нельзя — зальёшь свечи, встанет совсем. Бахтиёр ждал и считал про себя до шестидесяти, как учил отец на первом их тракторе: дай ей собраться, она старая. Пар изо рта шёл уже толчками. На сорока он поймал себя на том, что шепчет — не отцов счёт, а одно слово, «бисмилля», опять и опять.

На шестидесяти он чуть утопил подсос, тронул газ — не залить, только плеснуть — и повернул ключ. Стартер пошёл ещё медленнее. Раз. Два. На третьем в моторе что-то дрогнуло, поймалось, ухнуло — и опало. Запахло бензином.

— Бисмилля, — сказал он мотору, тихо, по-своему.

На следующем повороте ключа стартер едва шевельнул мотор и сдох до щелчка. Аккумулятор кончился.

Бахтиёр выдохнул, опустил лоб на холодный руль. Потом выпрямился.

— С толкача, — сказал он. — Шавкат, Рустам — все. Под уклон, к воротам. Толкаем.

Навалились впятером. Буханка нехотя стронулась по снегу, под горку к воротам двора, пошла, закрипела колёсами на морозе. Шавкат толкал сзади, упёршись плечом, рюкзак на спине, и сопел, и его молодое, оскаленное от натуги лицо прыгало в зеркале заднего вида. Когда машина покатила, Бахтиёр включил вторую и бросил сцепление.

Буханка дёрнулась всем телом, мотор провернулся, поймал, кашлянул — и заработал. Тряско, с перебоями, на холодную — но заработал. Бахтиёр поддавал газу, не давая заглохнуть, и держал, держал, пока мотор не разошёлся.

Сзади кто-то коротко засмеялся — с облегчением. Шавкат хлопнул ладонью по крылу. Из выхлопа валил белый пар, оседал инеем, и от машины впервые за ночь пошло тепло — печка ещё только просыпалась, но мотор работал, и можно было ехать.

— Грузимся, — сказал Бахтиёр. — Быстро. Тепло не выпускайте.

Набились в выстуженный салон, мешки в ноги, Шавкат с рюкзаком на заднюю лавку, к Рустаму. Стёкла сразу затянуло паром от дыхания. Бахтиёр протёр лобовое ладонью, оставил мутную дугу и в неё повёл машину со двора.

На асфальт он не сунулся бы и днём. Про мёртвые машины на горелкинской трассе говорил весь посёлок, про мента, что перегородил дорогу машиной, — тоже. Но возил он не улицами — задворками: мимо тупиков, по грунтовке за насыпью. Она уходила из посёлка вдоль путей, потом сворачивала в лес и шла к Горелкину напрямик, в обход асфальта.

Буханка поползла со двора на второй передаче, без газа, чтоб не реветь в тишине. Фонарь над товарным двором ушёл назад, и сделалось темно — той темнотой, какая в посёлке бывает лишь при погашенном свете. Дома стояли тёмные, занесённые, кое-где из труб тянуло дымом — топили, спали, не знали, что мимо них задами уходит крюк. Снег летел в подфарники косо и без конца. Сзади молчали все. Печка наконец дохнула теплом в ноги, и кто-то благодарно подобрался к решётке.

За крайними домами дорога сузилась, нырнула в кусты. Бахтиёр включил ближний — иначе было не пройти. Фары выхватили первые деревья. Не опушку — лес: он стоял по обе стороны грунтовки, чёрный, заваленный снегом, плотный, без края, и дорога втягивалась в него. Бахтиёр сбавил до первой. В свете фар падал снег, стояли стволы, стволы, стволы, и между ними не было ничего — ни огонька, ни просвета, ни звука. Только их мотор, и тот под деревьями был еле слышен.

Довезу, — сказал он себе, по-своему. И въехал под деревья.

* * *

Грунтовку Бахтиёр знал до последнего поворота — где канава, где колдобина, где она вовсе кончается, не дойдя до Горелкина: дальше через лес шла одна тропа, машине не по ней. Свежий снег лежал на грунтовке нетронутый — тут не ездили. Буханку водило, колёса срывались на мёрзлых рывтинах, и у того края, где дорога сходила на тропу, она встала.

Дальше пешком. Он знал это с самого начала — знал и всё равно гнал, пока шла, потому что в кабине было тепло, и можно было думать, что доведёт. Он заглушил мотор.

И сразу, без стука, стало слышно, что леса нет. Не спит, не шуршит под снегом, не сыплет с лап — нет совсем. Ни ветки, ни птицы, ни зверя. Своё дыхание да поскрипывание стынувшего железа за спиной — и больше ничего на всю чашу.

— Выходим, — сказал Бахтиёр. В тишине голос вышел чужим, слишком громким, и он сбавил почти до шёпота. — Дальше ногами. До Горелкина час, если по тропе. Держимся кучей.

Двери захлопали глухо, одна за одной. Шестеро вышли в снег, в темноту между стволов, в холод. Тепла, набранного в кабине, хватило на минуту, не дольше. Бахтиёр оглядел своих — лица, серые от снега и луны, пар у каждого рта, синий рюкзак на спине у Шавката.

— Я впереди, тропу бить. Рустам — замыкающий, гляди назад. Шавкат, ты перед Рустамом. — Мальчишку он ставил под бок старшему, ближе к хвосту: там надёжней, Рустам приглядит. — Из виду меня не выпускайте. Пошли. Не растягивайтесь.

Они вытянулись цепочкой. Он шёл первым, по щиколотку в рыхлом снегу, набивая тропу для тех, кто сзади. Снег был сухой, скрипучий, и каждый шаг отдавал под валенками далеко в стороны — он старался ступать тише и не мог, в такой тишине гремело и дыхание.

Лес стоял по обе стороны стеной, чёрный, лапы провисли под снегом. Бахтиёр ходил тут не раз — по осени с крюком за орехом, за грибами, — и лес всегда жил: хрустнет, ухнет, осыплется, прошуршит кто-то в подросте. Сейчас не жило ничего. Будто зверь и птица ушли отсюда разом и давно — а он привёл сюда людей.

Он гнал эту мысль и считал шаги, чтобы не думать. На пятой сотне тропа вывела на прогал, и он стал, поднял руку. Стойте.

На краю прогала, на старой ели, кора была содрана. Четыре полосы наискось, в рост человека, до белой древесины, и края опалены — как от огня.

Он уже слышал про такое — про железо брошенных машин на трассе, про что говорил весь посёлок. Объехал, а всё ж не верил. Теперь стоял и смотрел на дерево.

А под елью, в истоптанном, разбросанном снегу, стоял валенок. Один, голенищем вверх — будто из него выдернули ногу и не дали опустить. Снег вокруг был взрыт и кинут вбок, в

кусты, и там обрывался. Ни тела. Ни следа, что повёл бы дальше. Кто-то шёл здесь до них, этой же тропой, на то же Горелкино, — и не дошёл.

У того, что содрало кору и выдернуло человека из валенка, имени не было — ни на его языке, ни на русском. За спиной кто-то охнул и тихо позвал Бога по-своему.

— Идём, — сказал Бахтиёр, и сам не узнал свой голос. — Не стоять. Идём.

Они пошли дальше — мимо ели, мимо валенка, не оглядываясь. Бахтиёр считал шаги и через каждую сотню оборачивался, пересчитывал своих. Пятеро за спиной, след в след, Рустам в хвосте. С ним самим — шестеро. И сам себя за это корил — что считал как скот, как мешки на разгрузке, — но в этой тишине иначе было нельзя.

Скоро цепочка сжалась сама собой — никто не велел, а пошли теснее, едва не на пятки. И шли так, как ходят в мороз и в страх: голову в плечи, глаза под ноги, в набитую тропу. Каждый брёл сам по себе, в своём холоде, и спину переднего держал не глазами — чутьём, лишь бы не отстать. Чем дальше, тем сильнее делалось чувство, что в лесу сбоку, за стволами, кто-то есть — идёт рядом, держится вровень. Бахтиёр туда не смотрел. Шёл и считал.

На седьмой сотне в нос ударило. Поверх хвои, поверх мороза, поверх бензина с куртки — что-то ещё, чего он не знал и знать не хотел. Не падаль, не гарь, не зверь. Тонкое, на один вдох, и пропало. Бахтиёр стал, поднял руку.

— Стойте.

Встали. Свои не знали, чего он встал, — смотрели на него, ждали. Бахтиёр обернулся, пересчитал. Четверо.

Он не поверил. Темно, луна за облаком, глаз устал от снега — обсчитался. Сосчитал снова, медленно, тыча взглядом в каждого: вот Кадыр — шапка на самые брови, вот братья — плечо к плечу, вот в хвосте Рустам. Четверо. Между братьями и Рустамом, там, где должен был идти Шавкат, в цепочке зиял разрыв — пустое место в снегу, шириной в две ступни.

Остальные проследили за его взглядом и сочли тоже — губами, молча. И на лицах разом проступило то, чего минуту назад не знал никто: Шавката между ними нет. Каждый брёл, уткнувшись в тропу, — Бахтиёр и сам так шёл, веря, что свои и спереди, и сзади.

Он смотрел на это место и не понимал. Не хотел понимать. Ждал, что мальчишка сейчас шагнёт в этот разрыв из-за дерева — отошёл по нужде, замешкался, нагоняет. Никто не шагнул. Лес стоял чёрный и молчал, как молчал всю дорогу.

— Шавкат, — позвал Бахтиёр. Негромко — громко тут было нельзя. — Шавкат.

Никто не отозвался. Эха и того не было — звук упал в снег и пропал.

Он пошёл назад вдоль цепочки, и свои расступались, давая дорогу. Каждый смотрел не на него — на пустое место. Снег на тропе был выбит их шагами в строчку, и она не обрывалась — шла дальше, до самого хвоста. Только в одном месте наст был смят вбок, к кустам, будто рвануло разом, — а след шёл мимо, как ни в чём не бывало: Рустам прошёл тут и не заметил. Здесь Шавкат ступил в последний раз. Отсюда его уволокло — вбок, в темноту, между двумя шагами. За кустами целина, нетронутая под луной. Ни тела. Ни борозды. Просто вбок — и нет.

Глаз у Бахтиёра был намётанный — на груз, на дорогу, на след, — он привык читать, где порвётся, где встанет. Тут не порвалось и не встало — шёл человек, и нет его, без крика, без шороха.

Рюкзак лежал в смятом снегу, у самых кустов. Синий, с обмотанной скотчем лямкой. Один.

— Я ж за ним шёл, Баха. — Рустам не отрывал глаз от смятого снега, голос дрожал. — Замыкал, как ты велел. Только глядел не на него — под ноги, в тропу, чтоб не сбиться. Думал, вот он, впереди, рюкзак его синий, куда денется. — Он поднял лицо, белое. — Прошёл я тут. По самому месту прошёл, где его не стало, — и не услышал, и не увидел. Тише снега ушёл...

Договаривать он не стал.

Кадыр попятился, наткнулся на братьев и встал, вцепившись одному в рукав. Другой брат отвернулся от чёрного леса, словно так было безопаснее, и беззвучно зашевелил губами. Кто-то выговорил вслух стариково — тихих не трогают — и осёкся на полуслове.

И все они, не сговариваясь, повернулись к Бахтиёру.

Он привёл. Он сказал «дойдём». Бил тропу, сажал в машину, считал головы. Он был старший, ему и отвечать. Ждали его слова, как ждали у барака, как ждали всегда.

Перед глазами встал Шавкат — живой, ещё затемно: переминается у буханки, не терпится, достаёт коробку, в пятый раз, и улыбается глупо, по-детски ещё: «Сам в руки дам. Дома». А мать его, провожая, держала Бахтиёра за рукав дольше, чем надо, и ничего не сказала. То молчание он понял только теперь, над пустым снегом.

Надо было соврать им — что всё ещё обойдётся, что найдём, что дойдём. Бахтиёр стоял и не мог. Он подошёл, наклонился, поднял рюкзак из снега. Тот был ещё тёплый изнутри — от спины. Внутри, под тряпьем, глухо стукнула коробка — та самая, что мальчишка вёз матери с лета, берёг от сырости и чужих рук, чтоб самому, своей рукой.

Дома.

* * *

Назад вёл он же. Развернул цепочку на той же тропе, встал первым и повёл обратно — к буханке, к посёлку, в клетку, из которой только что выводил. Рюкзак Шавката висел у него на плече и бил по спине на каждом шагу.

Шли быстрее, чем туда. Никто не оглядывался на чёрные кусты, где смялся вбок наст, — но каждый знал, что там, и нёс это в себе. За спиной молчали. Бахтиёр чуял их взгляды — другие, чем час назад, — и не оборачивался. Оборачиваться было нельзя: ни на лес, ни на своих.

Буханка стояла, где встала, носом в тропу, остыв за этот час до железного нутра. Бахтиёр завёл её, развернулся враскачку, обдирая бортом кусты, и погнал назад той же грунтовой, по своему же следу.

В кабине было тесно и тепло, и от тепла, от тесноты, от того, что едут наконец из леса, кого-то начало отпускать: кто-то завозился, кто-то длинно, дрожа, выдохнул. И тут же смолк. Ехали впятером там, где садились вшестером. Лишнее место на лавке никто не занял.

Светало, когда выбрались из-под деревьев. Не светом — серостью: небо из чёрного стало мутным, и проступил посёлок — занесённые крыши, тёмные окна, редкий дым из труб. Тот же посёлок, что они кляли шесть лет, чужой и тесный. Бахтиёр гнал к нему, потому что больше ехать было некуда.

Во дворе барака не спали — ждали. Зухра-апа первой вышла на скрип тормозов, запахивая платок. За ней потянулись остальные — старуха, две женщины помоложе, Хайдар, кашляющий в кулак. Они смотрели, как из буханки вылезают по одному, и считали — губами, как считал он. И каждый, досчитав до пятого, замирал.

Мать Шавката осталась дома, в кишлаке. Здесь завьёт по нему было некому — и оттого тишина во дворе была страшнее воя.

Эргаш-ота вышел последним, в накинутах на плечи чапане, с палкой. Встал на крыльце. Посмотрел на Бахтиёра, на синий рюкзак у него на плече, знакомый всем, — и не сказал ничего. Не спросил, кого нет. Не спросил, как вышло. Молчал — и в молчании этом не было упрёка. Упрёк Бахтиёр снёс бы. Было хуже: старик отпустил их своей рукой, своим «иди», и теперь нёс это вместе с ним, молча, потому что говорить было не о чем.

Барак принял их обратно. Внутри было тепло от печи и от людей, пахло вчерашним пловом и мокрой шерстью, и в этом тепле, среди своих, до Бахтиёра дошло до конца то, что он гнал от себя всю обратную дорогу: уходить некуда. Асфальт он обошёл стороной, зная по слухам,

что там смерть. А тропа обернулась смертью сама, у него на глазах. Лес стоял со всех сторон, и в лесу брали не разбирая — тихий ты или шумный, своего или чужого. Весь посёлок ещё спорил — гроза или волки, верить или не верить, — а они теперь знали. Стариково «перетерпим» больше не годилось: терпеть стало негде, а вести — некуда. Оставалось одно — жить тут, в чужом посёлке, под чужими, и не высовываться, как они умели и как уже не спасало.

Он не лёг. Когда своих развели по углам, когда Зухра-апа сунула ему в руки пиалу — он не пил, держал, грея ладони, — Бахтиёр снова вышел во двор, под серое небо, и достал телефон. Рюкзак Шавката так и висел у него на плече: снять — значило положить куда-то, а класть его было некуда.

Дома, в долине, утро наступало раньше. Там уже вставали, доили, ставили лепёшки. Он нашёл в книжке жену и поднёс трубку к уху.

Гудок. Длинный, протяжный, далёкий. Другой. Третий.

Где-то там, за горами, в их дворе под Маргиланом надрывался на стене телефон — а к нему никто не шёл. Жена во дворе, не слышит. Сыновья в школе. Или слышат, да не добегают. Или... Он не дал себе додумать это «или». Стоял, слушал гудки и шептал в них, тихо, чтоб не услышали из барака, — имя жены, имя старшего, имя младшего. Будто имена сами долетят до долины, как доходит молитва, и скажут, что он жив, что помнит, что вернётся.

Гудки шли и шли в пустоту. Потом щёлкнуло, и пошли частые — занято, или сбросило, или связь, как всё в эти дни, сдохла наконец совсем.

Бахтиёр опустил телефон. Иней лёг на брови, пока он стоял. За крышами чернела полоса леса — та самая, откуда они вышли без одного. Оттуда не доносилось ни звука. В другую зиму был бы волк, ухал филин — живой, понятный страх, на который ставят капкан и спускают собаку. Теперь лес молчал, а на то, что взяло Шавката, капкана было не поставить.

А за спиной просыпался посёлок — топили, гремели ведром у колонки, перекликались. Те самые, что звали его Равшаном и лиц не запоминали, — под ними теперь и жить.

Рюкзак оттягивал плечо. Внутри лежала коробка конфет, которую мальчишка вёз матери с лета: его теперь нет, а до матери не дозвониться — может, уже и никогда.

Глава 10. «Не удержать»

Конец октября. Пятый день без связи.

Рассвет не пришёл — серое небо лишь понемногу светлело.

Ночь Игорь провёл в «Ниве», поставленной поперёк въезда у крайних домов. Глушил мотор и заводил снова, по часам: погреться, не дать аккумулятору сесть на морозе совсем. С вечера повалил снег — не давешняя крупа, что таяла на лету, а тяжёлый, спорый, ложился и больше не сходил, залеплял лобовое, и Игорь то и дело соскребал его рукавом, чтоб видеть дорогу. Дремал урывками, вздрагивал от всякого скрипа, и каждый раз, очнувшись, первым делом смотрел туда, на дорогу, уходившую в чёрный лес, — не идёт ли что оттуда. Ничего не шло, только снег валил и валил. К утру намело, «Ниву» обложило по стёкла, а сам он промёрз так, что мороз уже не щипал, а сидел внутри, в костях, и пальцы на руле слушались едва-едва.

Лента, которую он размотал вчера от столба к столбу, провисла и заиндевела, на ветру подрагивала и щёлкала — бело-красная, как положено, единственное, что тут было по форме. На ломе, воткнутом в обочину, висел фонарь, к утру выгоревший досуха. Игорь снял его, потряс — мёртвый. Сунул в карман.

Вторые сутки на ногах. Сменщик по уставу положен — да некого ставить. За спиной — посёлок, тысяч на пять душ, и из них про дорогу знают четверо: он, председатель, Сёмин в дежурке — да городская, которой никто не поверил. Остальные знают по-своему — гроза, дерево легло, расчистят. Так им сказали. Так он сам сказал вчера тому мужику с серым лицом, у которого сын в городе.

Свет в окраинных окнах за его спиной нет-нет да проседал почти до нити и нехотя разгорался обратно — за эти дни он сдавал всё чаще. Снег под утро стих, но лёг плотно — укрыл крыши, дорогу, обвисшую ленту на столбах, и посёлок под ним стоял белый и прибранный, самый мирный с виду за всю неделю. Над иными трубами курился дым. Посёлок просыпался, как просыпался всегда: где-то хлопнула калитка, забрехала и осеклась собака, протарахтел и стих движок. Живой ещё посёлок. Не знающий.

Первая машина выехала к посту в начале девятого.

Старенькая «Ока», за рулём — Витька Лосев, шофёр с хлебозавода, Игорь его знал сто лет, как знал тут всех на земле. Витька высунулся, не глуша мотора:

— Васильич? Ты чего тут?

— Дорога закрыта, Вить. Дальше нельзя. — Игорь подошёл, наклонился к окну. Говорил без нажима, как говорят на посту, чтоб не спорили. — Разворачивайся.

— Да мне за хлебом, на Горелкино, склад открывается. У нас мука кончается, нечем завтра... — Витька осёкся, поглядел на ленту, на «Ниву» поперёк. — А чего закрыта-то? Авария?

— Дерево легло за поворотом. Большое. Пока не растащат — никак. — Слова выходили гладкие, чужие. — Завтра приезжай, может, расчистят.

Витька поводит глазами по дороге, по сосновой стене, и поверил. Вернее, захотел поверить. Кивнул, сдал назад, развернул «Оку» в три приёма и потарахтел обратно, к посёлку. Игорь смотрел вслед, и отпустило самую малость: один — назад. Живой. Не знает, что Игорь его сейчас спас, и не надо, чтоб знал.

За «Окой», через четверть часа, подъехал «Патриот» — Гриша Седых с зятем, оба при ружьях в чехлах, по лицам видно, что не на охоту. Этих развернуть вышло труднее. Гриша лез, что у него тёща в Горелкине одна, что он по бездорожью где хошь пройдёт, что не первый год за рулём. Игорь стоял поперёк и повторял одно: нельзя, закрыто, дерево. Не объяснял больше — объяснять было нечем, а правду сказать он не мог: председатель велел тихо, да и не было у него слов на ту правду. Гриша поматерился, плюнул, сдал назад. Но, разворачиваясь, бросил в окно, зло:

— Не растащат они ничего. Сами объедем. Делов-то.

И вот это «сами объедем» Игорь поймал, как ловят сквозняк спиной.

Объедут. Он-то знал, что за лесом, а они не знали и потому не боялись. Асфальт он перекрыл — машину поперёк, ленту, одну лазейку наружу. А в обход троп хватало. Грунтовка задворками от товарного двора, вдоль насыпи, — ею до Горелкина, минуя пост. Рельсы — иди себе по шпалам за поляну. Река. И сам лес, вплотную, к огородам. Он держал одну, а их было — не сосчитать.

К полудню — если можно было звать полуднем эту серую невнятицу, в которой день едва набрал силу и уже клонился обратно — машин у поста перебивало с десятков. Кого Игорь заворачивал словом, кого — тем, что стоял твёрдо в форме, поперёк, и за ним вроде как была сила. Держался на одном — что они пока ещё верили в форму. Что капитан полиции, перегородивший дорогу, знает, что делает.

А они верили всё хуже.

— Слышь, начальник. — Молодой парень, незнакомый, городской по виду, дачник чей-нибудь, тормознул на своей иномарке и даже не вылез, говорил в окно, цедил. — Ты мне покажи, где дерево. Поехали, покажешь. Нет дерева никакого. Связи нет, заправки стоят, ты тут лапшу вешаешь. Что происходит-то?

— Дорога закрыта. — Челюсть сводило от усталости и холода. — Развернись.

— Да пошёл ты. — Парень газанул, объехал «Ниву» по обочине, по самой кромке, чуть не клюнув в кювет, и ушёл к лесу, мелькнув стопарями на повороте.

Игорь стоял и смотрел, как иномарка ныряет за поворот, в чашу, туда, откуда он сам вчера едва унёс ноги. Дёрнулся было к «Ниве» — догнать, завернуть, — и встал. Бросишь пост — сюда хлынут остальные, эти, что ждут поодаль, приглядываются. Догонишь одного — упустишь десять. Не разорваться.

Парень не вернулся. Игорь ждал, считал минуты: иномарка до завала доедет за пять, развернётся, если жива, за десять. Прошло двадцать. Полчаса. Час. Стопарей на повороте больше не мелькнуло.

Один.

Игорь не записал его — некуда было, да и имени не знал. Просто стало в нём одним камнем тяжелее, и камень этот лёг рядом с теми, прежними: Сорокин, Дроздов, Пашка. Теперь ещё — *парень на серой иномарке, имени не знаю, объехал по обочине, я не догнал. Не стал догонять.*

К сумеркам, которые в конце октября наступают рано и без перехода, у поста стало пусто. Намёрзшись и наоравшись за день до хрипоты, Игорь сел в «Ниву», завёл, пустил печку. И тут от посёлка подкатил «уазик» дорожников, и из него вылез не дорожник, а Колька Седых, брат давешнего Гриши, тот, что при станции сторожем.

— Васильич. — Колька мял шапку. — Ты Кузьмина не разворачивал утром?

Игорь не сразу понял. Кузьмин. Мужик с серым лицом, сын в городе. Вчерашний.

— Разворачивал. Вчера ещё, тут вот. Сегодня не видал. А что?

— А того. Уехал он. С утра, чуть свет. В объезд подался, грунтовкой вдоль насыпи, — сказал, ею до Горелкина, а там на город как-нибудь проберётся, к сыну. Баба его прибежала на станцию, воеет: не вернулся, мол, и телефон молчит. — Колька глядел в сторону, на лес. — Я думал, может, ты его завернул, может, он у тебя где...

— Не у меня.

— Ну. — Колька помолчал. — Значит, проехал.

Проехал. Грунтовкой, задворками, мимо поста — там, где Игоря не было и быть не могло. А та грунтовка так же уходит в лес, как всё тут. Кузьмин не поверил ему вчера — это было написано у мужика на лице крупно, не сотрёшь: менту, который сам едва вырвался с той дороги живым, не поверил, потому что там сын. А не поверив, нашёл лазейку. Таких хватало.

— Бабе-то что сказать? — спросил Колька.

Игорь не ответил. Он за день завернул кого мог — и каждый глядел на него как на самодура. А Кузьмина не завернул никто — на грунтовке поста не стояло, — и Кузьмин уехал к сыну в объезд, тем путём, с которого не возвращаются. Игорь стерёг одну дорогу, а человека утянуло другой.

— Иди домой, Коля, — сказал он наконец. — И бабе скажи... скажи, пусть ждёт. Может, застрял где, пережидает, связи же нет. Всякое бывает.

Колька поглядел на него, и в глазах у него была та же тень, что у Кузьмина вчера: не верю. Знаю, что врёшь, и ты знаешь, что я знаю. Но кивнул, нахлобучил шапку, полез в «уазик».

Игорь остался один. Серый день догорал. К вечеру подморозило круче, и снег, переставший было днём, посыпал опять — густо, без ветра, заматавая натопанное за день у поста. К утру укроет и колею, и след той иномарки за поворотом — будто ничего и не было. Лента щёлкала под снегом, обмерзая. За спиной, в посёлке, тянулся дым из труб, кто-то жил, не зная, а кто-то уже знал — жена Кузьмина выла на станции, и вой этот к утру разойдётся по дворам, как расходится всё. И завтра приедут не двое и не трое. Завтра, когда вой дойдёт до каждого, хлынут все разом — и сюда, и на грунтовку, и на станцию, к рельсам, и он не сможет встать поперёк всего.

Дамба держалась на одном вранье: связь наладят, наши вернутся, расчистят дерево. Вранье трескалось. Игорь стоял у трещины и считал, по привычке, чем её затыкать. Выходило: двумя руками. Своими двумя.

Не удержать.

* * *

К рассвету Игорь перестал считать.

Всю ночь считал — по привычке, чтоб держаться на ногах: часы до зари, машины, что не пришли, своих, которых нет. К рассвету сбился и бросил. Цифры разъезжались, не держались в голове, как не держится вода в горсти. Третьи сутки на ногах. Ни крошки, ни глотка с того утра, как поехал на мёртвую дорогу, — снег, что он брал в рот, таял железной горечью, и от него только туже сводило пустой живот. Мир по краям расплывался, качался, будто сходни под ногой, и держался Игорь на одном: он в форме, а форму ронять нельзя.

Вой он услышал ещё затемно. Бабий, тонкий, со стороны станции — Кузьмина жена выла там с вечера, и за ночь к ней, видать, прибавилось. Вой за ночь не смолк, а ширился, обрастал голосами, и к серому свету стоял над посёлком уже не плач — гул. Тот гул Игорь знал нутром, двадцатью годами на земле: так гудит толпа, когда вот-вот хлынет.

Блок он бросил. Смысла в нём больше не было — дорогу знали все, и грунтовку знали, и нечего стеречь одну ленту, когда рвётся весь посёлок. Вот тебе и тихо, вот тебе и без шума. Игорь завёл «Ниву», и пока мотор схватывался, успел подумать тяжело и ясно: *вот оно*. То, чего он боялся у дороги в ночь, когда ставил пост. Дамбу прорвало.

К станции он подъехать не смог — застрял за два квартала. Дальше улица была забита: машины носом в зад одна другой, кто-то бросил свою прямо поперёк и убежал, и в проулках между домами тёк к станции народ — с узлами, с чемоданами, с детьми на закорках, в чём успели одеться. Снег валил на них, садился на платки, на тюки, и его тут же разбивали в грязь сотни ног. Игорь выбрался из машины и пошёл к перрону, расталкивая плечом, и его несло назад, как идущего вброд против реки.

На перроне было то, что началось три дня назад, когда станция только начала набухать людьми, — а теперь дозрело и лопнуло. Народу набилось — не протолкнуться. Рельсы, занесённые за ночь снегом, уходили от станции в белое марево, за поляну, в лес, — и по ним, по шпалам, уже шли. Не ждали поезда — шли пешком, по путям, прочь из посёлка: семьями,

гуськом, с мешками за спиной, друг за другом в снег. Уходили туда, откуда не вернулся никто. И Игорь знал это, как знал, что они не знают, — а если и чувят, то страх остаться пересилил.

— Стой! — крикнул он, и голос сорвался, выдал хрип. — По путям нельзя! Назад!

Его не услышали. Или услышали и не повернули. Рядом мужик в распахнутом пальто волок чемодан на колёсиках, и колёсики застревали в снегу между шпал, и мужик дёргал, матерясь, и шёл, шёл за остальными. Игорь схватил его за рукав — мужик рванулся, не глянув, кто держит, выдрался и пошёл дальше. За ним шли другие. Их было больше, чем Игорь мог удержать руками.

Двое его людей — молодой ппсник да второй, постарше: всё, что Сёмин поднял по домам, когда покатилося. Вчера, на пост, их было не дозваться — сегодня пришли сами. Топтались у края перрона, бледные, не зная, что делать без приказа, которого Игорь и сам не знал. Он крикнул им завернуть людей с путей — они кинулись, расставили руки, и толпа обошла их, как обходят два столба, — мимо, не сбавив шага. Молодой схватил было какую-то бабку — та завизжала, будто режут, и на крик обернулись, и кто-то уже лез с кулаками — ещё немного, и его же людей стопчут. Он махнул — отойти. Двое отступили. Толпа потекла дальше, на рельсы, в снег.

У водокачки сцепились двое — за канистру, за бензин, что прятали на чёрный день, и день пришёл. Один свалил другого в снег, бил, и канистру у обоих выбили, и она катилась, разливая, и третий кинулся подбирать. Дрались молча. Игорь шагнул туда — растащить, как растаскивал пьяных у клуба по субботам, привычно, — и остановил себя. Не для того его две руки. Растащишь этих — рядом сцепятся те. Не клуб. Весь посёлок.

Окно в станционном зальце вынесли — не лезли через него, просто вынесли в давке, и стекло сыпануло на перрон, и по нему пошли, хрустя, не глядя под ноги. Где-то в гуще плакал ребёнок — тонко, без передышки, и плач этот шёл из самой середины, и никто к нему не наклонялся. Ветер тянул с путей, низовой, ледяной, нёс снег и горький дым — кто-то жёг у складов, не понять что. Игорь стоял в этом, и его качало, и он не знал, бежать ли ему за ребёнком, разнимать ли драку, гнать ли с путей, — а пока не знал, мимо него уходили и уходили в снежную муть.

И тут он увидел её.

Женщину в городской куртке нараспашку, простоволосую, — она была не с теми, кто бежал, а поперёк, против, как и он. Лезла на какой-то ящик у стены, цеплялась, срывалась и кричала в толпу, махала руками:

— Стойте! Там смерть! Не ходите по рельсам, там лес, оттуда не возвращаются! Стойте, послушайте!

Зуевой дочь. Городская. Та самая, что в первый день прибежала к председателю с воем про дорогу, и которую он, председатель, выставил, а посёлок ославил истеричкой. Та, чью правду он весь день перевирал на дороге, заворачивая людей деревом да расчисткой. Она кричала чистую правду — ту, что он знал и сам же прятал за враньём. Толпа шла мимо ящика, мимо её рук, в марево, и кричала она уже не им, а в пустоту, и Игорь видел по её лицу, как кончаются слова. Она замолчала. Опустила руки. И осталась стоять на ящике, глядя, как они уходят.

Он всё-таки полез в гущу — туда, где плакал ребёнок. Не потому, что решил, — потому, что не пойти было нельзя. Добрался — мальчонка лет четырёх сидел на узле, ревел. Матери не было — унесло течением вперёд. Игорь подхватил его, поднял над головами, заорал: «Чей?! Бабу с пацаном кто видел?!» — и кто-то отозвался, и пацана передали по рукам вперёд, к матери, и это было одно — одно дитё из всех. А пока он его передавал, мимо, по путям, ушло столько, что не сосчитать. На одного, кого подал в руки, — трое в снег, за поляну.

К полудню посёлок выхлестнул из себя всех, кто рвался бежать. Перрон опустел, рельсы уходили в лес истоптанной в кашу полосой, и по этой полосе больше никто не шёл: ушли, кто

ушёл. Витьку Лосева Игорь увидел в самом конце. Вчерашнего Витьку, что развернул «Оку». Витька шёл по шпалам с рюкзаком и канистрой, ходко, не оглядываясь, и его светлая шапка мелькнула в белой мгле — раз, другой — и пропала в снегу. Игорь не окликнул. Незачем. Не дошёл бы голос, а дошёл бы — не повернул бы Витька.

Кого Игорь завернул за этот день, он не считал — со счёта сбился ещё на рассвете. Может, пяток. Может, десяток. Тех, кого схватил, удержал, доорался, толкнул назад к домам — тех, кто послушал в последний миг. Остальные ушли. И тех, кто ушёл, было несравнимо больше: они не верили ни ему, ни форме, ни ленте поперёк дороги — верили спинам впереди. А кто и спинам не поверил, тот нашёл, куда идти.

* * *

Очнулся Игорь оттого, что стало тихо.

Не сразу понял где. Потолок низкий, в бурых разводах, лампа под ним не горит. Под щекой — твёрдое, холодное: стол. Дежурка. Отдел. Он сидел, привалившись грудью к столу, в куртке, и не помнил, как сюда добрался, как сел. Последнее, что держалось в памяти, — пустой перрон, рельсы в кашу, шапка Витьки в снежной мгле. Дальше провал. Трое суток форма держала его на ногах, а на исходе третьих отпустила разом, как перегорает лампа: горело — и нет.

За окном смеркалось. Сколько он так просидел — час, три, — Игорь не знал, и это первым делом и кольнуло: не знать времени. Поглядел на руки — отлежал, не слушаются. На стене ходики стояли: завести было некому.

— Очухался. — Сёмин сидел, где сидел всегда, — над станцией, грузный, мятый, ручка в пальцах. Из динамика тёк всё тот же белый шум. — Ты, Игорь Васильич, как вошёл, так и сел колом. Я тебя будить не стал. Толку-то будить.

— Долго я?

— С полудня. Уж смеркается. — Сёмин кивнул на окно. — Я думал, помер ты сидя. Пощупал — живой вроде. Ну, пускай, думаю, спит.

С полудня до сумерек. Часа три-четыре. А по телу — будто целую ночь пролежал. Игорь разогнулся — спину прострелило, в глазах поплыли тёмные мухи, и он переждал, держась за край стола, пока схлынет. Голод тянул под ложечкой, тупой, привычный уже.

Сёмин, не спрашивая, плеснул из чайника в кружку, подвинул через стол. Чай был чёрный, перестоявший. В прошлый раз — три дня, целую жизнь назад — Игорь от этой кружки отмахнулся: не до чаю. Теперь взял обеими руками, грел ладони, пил мелко. Тепло прошло внутрь, и от него по телу прокатило дрожью, которую он все эти дни держал зажатой.

— По нулям? — спросил, как спрашивал всегда.

— По нулям. — Сёмин и шкалу крутить перестал. — Район молчит. Свои молчат. Бабка одна с утра приходила, спрашивала, когда автобус. Я сказал — нет автобуса. Она постояла, ушла.

Игорь допил, поставил кружку. Надо было встать и идти — куда, он ещё не знал, но сидеть было нельзя: сидя он опять провалится, а провалиться было нельзя. Он встал, одёрнул куртку и пошёл к выходу.

— Ты бы поел чего, — сказал Сёмин в спину. — Третий день не жравши.

— Потом.

Снаружи всё тонуло в том же сером сумраке — день клонился к вечеру. Снег перестал, и посёлок лежал под ним весь белый — и пустой. Игорь вышел на крыльцо и замер.

Тихо было так, как не бывало тут отродясь.

Не той тишиной, что после поездов, к которой за неделю притерпелись. Другой. Из дворов не доносилось привычного живого шума: ни ведра у колонки, ни голоса через забор, ни

движка. Дым стоял над крышами — но не над всеми, а через одну, через две. И теперь, не думая, считал: где топят — там живые. Выходило меньше половины.

Он пошёл к центру, и под подошвами заскрипело на весь посёлок — снег, мороз, его собственные шаги. Звук был такой громкий в этой тишине, что Игорь опять, как там, на дороге, начал ступать тише.

Центр стоял разорённый, как после ярмарки, с какой все разом сорвались бежать. На площади перед закрытым «Магнитом» бросили машины — носом куда попало, присыпанные снегом. Чей-то чемодан лежал на боку посреди дороги, раскрытый, и снегу намело в него доверху. Узлы, тючки, рассыпанный скарб — всё, что хватало бежать и роняли на бегу, теперь лежало белыми холмиками, и не разобрать было, где что. У водокачки темнела на снегу пустая канистра, та или другая. Детский валенок, один, валиком инея по голенищу.

Игорь шёл и читал это, как читал место. Тут бросили. Тут топтались. Тут дрались. Только читать было не для протокола и не для розыска: разыскивать стало некого и некому. Он просто шёл и видел, сколько ушло. Не считал — тут уже не сосчитаешь, — а видел и без счёта: полпосёлка снялось и за сутки кануло за поляну — по рельсам, по дороге, по тропам. И не вернётся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.